

Тайся Тиш

Наследие
графского рода



Тайся Тишъ

Наследие графского рода

«Автор»

2026

Тишь Т.

Наследие графского рода / Т. Тишь — «Автор», 2026

Молодой аристократ возвращается с войны домой. Ни семьи, ни невесты — только следы, говорящие, что они живы. Он отказывается смириться с потерями и найдёт свою Мари — вместе с тем, что от него скрывали. Выдержит ли любовь такую правду?

© Тишь Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Домой	5
Глава 2. Кабинет отца	8
Глава 3. Старик	11
Глава 4. Перед дорогой	14
Глава 5. В поезде	18
Глава 6. Ласточкин остров	21
Глава 7. Дорога обратно	25
Глава 8. В конторе Сергея	27
Глава 9. Свет в окне Ершовых	29
Глава 10. Разговор с другом. У Володи	30
Глава 11. У поверенного. Берг	34
Глава 12. Гатчина	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Таисья Тишь

Наследие графского рода

Глава 1. Домой

Повозка подъезжала к дому ближе к полудню. Даже на постоялом дворе не удалось успокоить мающееся внутри нехорошее чувство: если крах, то уже непоправимый. Юра не сомкнул глаз больше двух суток, не мог, хоть убей. Не из-за тряски, не из-за ухабов, припечатывающих спину к жёсткой стенке. Спать сидя, стоя, под грохот орудий он давно научился. Но сейчас внутри всё дрожало мелкой, противной дрожью, будто перед решающей атакой, когда от твоего выстрела зависит всё, и ты ждёшь, замерев, целишься в темноту, а темнота не отвечает.

Все мысли снова только о доме. Не просто воспоминания, а жадные, лихорадочные запросы в пустоту: где они? Почему молчат?

Чем ближе была точка назначения, тем острее ожидание. Словно не было этих лет, когда надежда гасла с каждым новым бессодержательным ответом на его запросы.

Будто Юра не выбрался наконец из колодца войны, а возвращается на несколько лет назад, когда он всё ещё ждал отклика, весточки. И верил, что дотянется.

В то время, когда он отправлял письмо за письмом и не получал ни строчки в ответ. Ни единой: ни от матери, ни от Мари, ни от Володьки. И главное, из инстанций так и не было получено ни статуса «мёртв», ни «пропал без вести». Даже по родственникам. Что говорить о Мари, ведь и помолвки не было. Для любых чиновников любимая была лишь поводом для отписки.

Чистая, сводящая с ума неизвестность. Как если бы дорогих ему людей просто вычеркнули из всех списков, оставив только глухое молчание, в котором тонут любые сигналы. Это изводило сильнее любого ожидания боя: не знать, имеешь ли ты право уже скорбеть, или ещё нужно бороться. Гадать, ждут ли тебя, или твоя надежда лишь пустой звук, бьющийся о запёртые двери.

Рука, травмированная на мортيره, привычно ныла к перемене погоды, но пальцы слушались, не дрожали. А вот сердце колотилось где-то у самого горла, заглушая стук копыт. Это было не просто ожиданием, а голодом: по лицам, голосам и прикосновениям. Он почти физически ощущал, как сжимает ладонями плечи матери, как хлопает друга по плечу и прикасается к Мари, уткнувшись лицом в её волосы. Этого просто не может не случиться.

«Лишь бы они были живы. Пусть это молчание будет чудовищной ошибкой, нелепой бюрократической оплошностью, чем угодно, но только не финалом».

Он цеплялся за воспоминания, перебирая их, как чётки, и каждое отдавалось одновременно и теплом, и острой болью надежд, которые могут так и остаться неоправданными.

Вот мать берёт его под руку, вот Володька давится смехом над его шуткой. Мари... Её взгляд исподлобья, когда она говорила что-то серьёзное, а потом вдруг улыбалась, и любая неприятность трескалась по швам, а мир вокруг затапливался светом. Все эти годы на фронте любимые ему только снились. А теперь он почти дома, только протяни руку.

И это «почти» скручивало нервы в жгут, натягивало их до предела как тетиву лука. Казалось, внутри всё вибрирует, тронь и лопнет. Он не хотел больше ждать. Юра хотел разорвать пелену неизвестности зубами, если придётся. Убедиться, понять и найти.

Оба дома, их и Ершовых, показались из-за поворота. Юра вцепился взглядом в окна, высматривая хоть огонёк, хоть тень или малейшее движение. Но те стояли с закрытыми ставнями, в траве по колено, заброшенные. Ни дымка, ни отблеска лампы. В груди что-то оборвалось и зазвенело, но он не дал этому звону перерасти в погребальный.

«Нет. Неправда».

Он спешил, закинув сумку и планшет через плечо. Извозчик тронул, Юра даже не оглянулся, так и оставшись перед заросшими высокой порослью воротинами. Петербургский особняк казался богом забытой усадьбой где-нибудь в глухом уезде. Таких он тысячи видел по дороге: разрушенных или вот таких, покинутых и тихих.

«Они живы. Просто что-то случилось, дурацкое, но поправимое, то, что можно размотать, как спутанный клубок, если найти кончик нити. И я его найду. Нет других вариантов».

Калитка Ершовых была увенчана замком, выглядевшим намного новее самого дома. Юра вернулся взглядом к воротам Безруковых. Те были прикрыты; он толкнул их, и они проскрипели несмазанными петлями, словно старуха-гадалка, предвещающая путнику беду. Небольшой сад давно запущен. Окна первого этажа были закрыты ставнями, где-то забиты досками, а второго завешены, и тёмными дырами глазниц таращились на дождливый Питер и запоздалого визитёра.

Юра сглотнул нехорошее предчувствие вместе с комом, вставшим в горле при виде заколоченных окон, внутри что-то оборвалось, но он силой запихнул свою воющую тревогу куда-то глубоко. Вслед за этим тут же поднялась волна злости: он не отступит. Не для того он сюда добирался, чтобы испугаться забитых досок.

Сад был мокрым. Сапог, словно назло, угодил в глубокую лужу у крыльца. Холодная жижа тут же промочила портянку. Юра брезгливо сморщился и замер, глядя в мутное отражение, в котором угадывалось бледное пятно его лица. И вдруг, будто из самой глубины тёмной воды, всплыл зловеющий обрывок из сказки Арины Петровны, той, где герою нельзя было смеяться:

«Не пей, забудешь слово. И помни, Юрочка, коли забудешь слово, то навек таким и станешься».

Голос няни, напряжённый, полный суеверного ужаса. Тогда Юра смеялся, слово-заклятье «мутабор» почему-то казалось ему слишком забавным, и когда оно звучало, он невольно прыскал. А няня шикала и читала дальше, пытаясь навеять на мальчишку должного ужаса.

Сейчас же, стоя у порога пустого дома, он понял этот ужас по-новому. Что, если он и вправду забыл слово? Забыл то самое, которое должно всё вернуть на круги своя. И теперь застрял в этом уродливом, неправильном превращении один, в глухой тишине под питерской послевоенной моросью.

Эта мысль на секунду обдала холодом, но он яростно тряхнул головой. Нет. Он ничего не забыл. Он всё ещё помнит каждое лицо, каждое имя, каждую мелочь. Никакой мистики, только правда, до которой нужно докопаться. Он отёрнул ногу из лужи, и холодная вода чавкнула, отпуская. Хватит гадать.

Недолго думая, он нашёл ключ. Тот по-прежнему лежал под битым кирпичом, будто и не было этих восьми лет, ни окопной грязи, ни вонь госпиталей, ни воя шрапнели, вырезавшей из памяти саму возможность тишины и размеренности. Замок не сменили, и это было хорошим знаком. Дом ждал своих.

Тяжёлая дубовая дверь со скрипом поддалась. Звук был таким громким в глухой тишине, что он инстинктивно шарахнулся в сторону, прижавшись к косяку, старая фронтальная привычка. В ответ только эхо, раскатившееся по пустым залам.

Юра отлип от косяка и резко шагнул внутрь.

Оказалось, победа имела горький вкус, с запахом плесени старых сундуков. Она пахла не парадным порошком, а густой пылью забвения. Луч сентябрьского солнца, пробившийся сквозь щель в ставне, освещал миллионы кружащих частиц — целый мир, живший своей жизнью в его отсутствие. На мраморном столике в прихожей лежала забытая перчатка.

Материнская.

Тончайшая лайка, покрытая серым налётом. Юра поднял её, и что-то в груди сжалось, но не глухо, а звонко, требовательно. Это была не точка, а знак вопроса. Знак того, что она была здесь. Что жизнь оборвалась не сама собой, её прервали.

— Никого, — прошептал он голосом, осипшим от табака и молчания.

Не крикнул, не позвал. Просто констатировал. Дом был мёртв.

И эта смерть была страшнее любой, виденной им на фронте. Там она была громкой, очевидной. Здесь она была тихой, коварной, вьёвшейся в портьеры и паркет. Там смерть забирала жизнь. Здесь у него украли смысл, ради которого он тащил эту жизнь через все круги ада.

Юра сжал перчатку в кулаке. Лайка тихо хрустнула, и этот ничтожный звук вернул его в реальность.

«Вот уже нет. Люди не исчезают, оставив фамильное серебро и лайковые перчатки у входа. Что-то случилось. И разбираться надо не в прихожей, а там, где отец хранил всё самое важное».

Он быстро пересёк холл и направился в кабинет отца.

Глава 2. Кабинет отца

Он вошёл, ожидая увидеть священный порядок под благородным слоем пыли, замершую во времени, непоколебимую крепость.

Но мозг на секунду отказался складывать картинку.

Комната была выпотрошена.

На стенах остались яркие прямоугольники от снятых карт, гвоздики торчали, как обломки рёбер. Книжные шкафы зияли пустотой: ни собраний исторических монографий, которыми отец так гордился, ни книг по юриспруденции, ни подшивок журналов. Полки были пусты и вымыты до белизны. С витрины для наград исчезло всё, даже бархатные подушечки. Остались лишь несколько жутковатых светлых пятен.

Отец не просто ушёл. Он демонстративно, до последней медали, вывез себя из этой жизни.

Но посреди этого опустошения царил жалкий, вымученный порядок. На голом столе лежала одинокая, идеально ровная стопка бумаг, исписанные материнским почерком листы, прижатые дешёвым мраморным пресс-папье, не отцовским тяжёлым бронзовым орлом. Рядом стояла склянка с желтоватой жидкостью и лежала засохшая тряпка. В воздухе висел едкий шлейф мыла, уксуса и... отчаяния.

Мать.

Она не просто заняла кабинет. Она вела здесь свою тихую войну на уничтожение. Мыла, скребла, вытравила каждый атом его присутствия. Но её собственная жизнь не заполнила пустоту, а лишь обнажила её, как убогий лазарет после сражения.

Юра машинально взял верхний лист.

Домовая книга. «Безруков Александр Петрович. Выбыл...» Адрес. Дата.

Под ней были счета, расчёты, жалованье прислуге. Бюджет выживания одинокой женщины.

А под пачкой векселей лежал конверт, притягивающий взгляд. Почерк он узнал сразу:

Контора поверенного Р. Л. фон Берга...

Юра побежал глазами по строчкам.

«...очередного полугодического содержания... согласно приложенному табелю расходов... напоминаем об установленном вашим супругом ежемесячном лимите в триста рублей на сугубо личные нужды... всякое превышение потребует отдельного письменного ходатайства с подробным обоснованием необходимости... дабы не обременять Александра Петровича...»

Лимит.

Отец установил лимит своей жене. Как малолетней наследнице или несостоятельной должнице. И делал это через поверенного, даже не удосужившись писать ей сам.

«Дабы не обременять...»

Жёстко. Даже слишком.

Что же такое мать могла совершить, чтобы быть так наказанной? Он ведь её любил. «Моя Аня» — Юра помнил. Откуда тогда эта канцелярская казнь? Со временем нежности могли уйти, но чтобы вот так...

Голова отказывалась складывать внятный сценарий её вины. А что, если вины и не было? Если причина была не в ней, а... в ком-то другом?

Взгляд сам собой дёрнулся к окну угрюмого дома Ершовых.

«Нет. Бред».

Но именно в этот момент Мари ударила в память так остро, будто стояла у него за спиной. Она к этому кабинету не имела никакого отношения. Никогда не бывала здесь. Но её отсутствие

чувствовалось сейчас острее всего, как единственная настоящая, необъяснимая боль в этом бумажном, аккуратном, мёртвом аду.

Где она в этой бухгалтерии разрыва? В какой графе? «Выбыла»? Или её имя было тем, что вообще не попало ни в одну ведомость? Тем, о чём в этом доме старались не думать и не писать?

Он представил её не здесь, а там, в соседнем доме, который маячил за окном тёмным, слепым пятном. Она должна была быть там. Услышать стук колёс, выглянуть...

Рука сама потянулась к внутреннему карману, где лежала её записка.

«Прочти, потом обсудим».

И память, вероломная и спасительная, выбросила его из ледяного кабинета в лето, полное жары и смеха.

Мари в детстве была хоть и округлой, но невообразимо живой. Миловидность обманчива, характер — нет. В отсутствие матери она не сломалась, а закалилась. Ей было лет четырнадцать, и дворовые девчонки уже пытались её уколоть: мол, нижняя часть тяжела, не прыгнет.

Мари не спорила. Подошла к дереву, пригляделась, закинула ногу на нижнюю ветку и вспорхнула на верхнюю так, как не смогла бы длинноногая жилистая Катька, дочь конюха. Соскочила, не стесняясь, сделала смешливый реверанс, сморщила нос, высунула язык и расхохоталась, запрокинув голову.

Друг сиял, как начищенная монета.

«Съели!» — фыркнул Володька, брат всегда сестрой гордился.

А Юра уже шёл к ней с ромашками, нарванными заранее. Тогда ему просто хотелось, чтобы в любом случае ей не было грустно или обидно. О том, что он всё-таки сцепился с Катькиным братом из-за неё, он тогда говорить не стал, как бы больна рука ни ныла.

Взгляд снова упал на бумаги, и яркая вспышка живой памяти рассыпалась.

«Обсудим».

Идиотское, прекрасное слово. Оно предполагало будущее, разговор, общий смысл. Всё то, чего не было в этой комнате, где формой общения стали циркуляры о лимитах и подписи под денежными переводами.

А если и их с Мари письма стали такой же «неучтённой статьёй расходов»? Если их, как отцовские книги, просто вынесли и выбросили, потому что они нарушали новый порядок?

Юра бросил бумаги на стол. Те, шурша, упали.

Вот, значит, материнское оружие. Не слёзы, не скандал. Уксус и мыло. И бессильная ярость, с которой она тёрла эти полки, пытаясь стереть не столько отца, сколько собственный позор.

А его оружие?

У него не было тряпки. Только записка в кармане и невысказанные слова, которые жгли горло, как тот самый уксус.

Он проверил ящички стола. Перья. Писчая бумага. Промокашки. Какой-то мелкий мусор, который раньше без разговоров выбрасывался, а теперь был аккуратно сложен в стопочку.

— Мелочь, вдруг пригодится? — недобро усмехнулся он пустой комнате.

На дне последнего ящичка, под слоем промокашек, лежал лист.

На нём крупным, но странно неровным почерком было выведено сухое, казённое:

«Матери и брату не пишу по причинам, которые они поймут. Остаюсь здесь. Не ищите.

Пётр».

Юра замер.

Сердце коротко, глухо ёкнуло. Значит, брат жив? Не сгинул в чекистских подвалах? «Остаюсь здесь». Где здесь? И почему эта ледяная, чужая строчка вместо всего, что можно было написать?

Он вздрогнул, вспомнив тот выбор наименьшего ужаса из имевшихся, перед которым стоял сам, в свою бытность военспецом. И разозлился на себя, на реакции своего тела, на память и рефлексy: он усилием разжал кулаки.

Что-то царапнуло память, когда он взгляделся в эти строки, но Юра так и не понял, что именно. Записка была сложена пополам, на ней не было ни адреса, ни даты, ни должной подписи: из ниоткуда в никуда. Бумага была той же самой, фирменной, с водяным гербом Безруковых, что и счета в стопке на столе, будто кто-то взял листок из отцовского блокнота и написал на нём чужой, ледяной приговор.

Пальцы сами потянулись к бумаге. Он взял её, и странное ощущение скользнуло под кожей: это был не голос брата. «Матери и брату» — не «маме и Юрке». Не письмо. Не записка. Справка об отказе от родства. Бумага с похоронным оттенком.

Юра ещё раз прочёл. Нет. Так Петя не писал бы никогда.

Он сложил листок и убрал его во внутренний карман, туда же, где лежала записка Мари. Два клочка бумаги. Две пропажи. Одна была с надеждой на «обсудим». Другая с приговором «не ищите».

Воздуха в лёгких не хватало. Он резко выпрямился.

Все нити в этом доме либо вели в никуда, либо к ней, к единственному, что не поддавалось ни бухгалтерии, ни вытравливанию.

— Чёрта с два, — выдохнул он в тишину.

Нельзя исчезнуть бесследно. Люди — не книги с полки. Особенно она.

Он развернулся и вышел из кабинета. Теперь ему было мало правды. Хотелось найти и наказать за всё невысказанное, за всё сломанное, за этот бумажный, ледяной ад. Первым пунктом был сосед. Тот должен был видеть. И тот должен был знать.

Глава 3. Старик

Юра распахнул соседскую калитку, такую же скрипучую, как их собственная. Сад встретил его бурьяном и сыростью, но в двух окнах у Вороховых горел свет.

Дверь открыла девочка лет тринадцати в простом платье и фартуке. Испуганно скользнула взглядом по незнакомому военному.

— Юрий Безруков, ваш сосед. Я к Василию Игоревичу.

Она коротко кивнула и махнула рукой в сторону приоткрытой двери в комнату на первом этаже, откуда лился свет.

«Дочка кухарки, — догадался Юра. — И никого из самих Вороховых. Негусто. Старик совсем один?»

Из кухни донёсся стук крышки кастрюли. Аромат похлёбки смешался с запахами старого дерева, пожелтевших газет и лекарственной настойкой.

Юра толкнул плечом дверь.

Василий Игоревич сидел в кресле у потухающего камина, укрытый клетчатым пледом. На столике рядом стоял недопитый чай, и лежали очки с одним треснувшим стеклом. Мужчина не обернулся, только глухо произнёс, будто продолжая давний разговор с самим собой:

— Уехали все. Все... к чертям... на рога...

Юра замер на пороге. Слова падали в тишину, как камни в колодец. Господи, только бы он был в уме.

— Василий Игоревич, — позвал он.

Старик медленно повернул голову. Мутные от катаракты глаза долго искали фокус. Потом в них мелькнуло узнавание, а за ним уже облегчение.

— Юра?.. Живёхонек, командир?

В этот момент в комнату вошла девчонка.

— Василий Игоревич, я закончила. Завтра утром приду попозже, через рынок, но всё успею.

Она скользнула взглядом по Юре и тут же опустила глаза.

Старик махнул рукой:

— Катя. Соседская. Мать её на фабрике сгибается, а она мне похлёбку да пол подмести. За пятак. С неё одной и вести бывают... Дочка-то моя с мужем под Ригу подалась, фельдшерницей. А он, зять-то, там и остался... Вот и доживаю... Как песок на отливе. Всё выносит, всё уносит...

Мысль Юры на миг отлетела от собственных бед. Как тот берег на Балтике, голый, истощенный, пахнущий тиной и гнилью. И ждёт прилива, который смоем эту грязь и зализет раны. Только прилива этого всё нет и нет. И таких «берегов» по всей стране миллионы. Война не просто забирает молодых, она обездоливает стариков, оставляет их умирать в пустых домах с чужой девочкой у порога.

Но жалость была роскошью, которую он сейчас не мог себе позволить.

— Жив, — коротко бросил он, делая шаг в комнату. — Где все?

— Мамка твоя не хотела, — прошептал Ворохов, опускаясь обратно в кресло. — Да коли Саша сказал, ты же понимаешь, не поперечишь...

В груди у Юры что-то ёкнуло. «Саша». Так по-свойски отца называли только в прежние, давно ушедшие времена.

— А куда уехали? В имение? — Мысль вырвалась сама собой, последний оплот здравого смысла. Конечно, в имение. Спасаться от войны, от беспорядка...

Старик качнул головой.

— Да кто куда...

Терпение Юры, и без того натянутое, как струна, лопнуло. Он подошёл ближе, и его тень накрыла кресло Ворохова.

— Василий Игоревич, — он произнёс каждое слово с ледяной чёткостью, за которой кипела ярость. — Кто. Куда. Уехал? Мне нужно знать всё. Об отце. О матери.

Он не произнёс имени Мари. Оно застряло в горле горячим комком. Но старик, кажется, и без того услышал.

— Матушка твоя... жива. На Ласточкином острове. Одна.

Слово повисло в воздухе.

— Одна? — тихо переспросил Юра. — А отец?

Старик сжался в кресле, будто его ударили.

— Не мне тебе это рассказывать, капитан. Доедешь — узнаешь сам...

Юра наклонился, поставив руки на подлокотники кресла.

— Как есть говори, Василий. Чай не сахарный. Что знаешь?

Под этим взглядом, под этой сдержанной силой, сопротивление старика дрогнуло.

— Мать твоя... убежала, — прошептал он. — Дали шанс, вот она и убежала. Жалко мне её. Добрая горячка, сильная. Всё равно вас с Петькой ждёт. Эх, знать бы ей, что жив...

Вот это и доконало Юру.

— Что значит — жив?! — вырвалось у него. — Я писал! Писал, считай, каждый день! Где они, эти письма?! Где, я спрашиваю?! Ни одного ответа! Почему никто ни разу не ответил?!

Он кричал не на старика. Он кричал в пустоту, в прошлое, в восемь лет тишины. Слова вылетели оружейным залпом, и тело будто обмякло. Юра вздохнул. Давно он так не срывался.

Василий Игоревич съёжился, но не от страха — от жалости.

— Юр, не кричи... Опечатаны поместья, оба. А здесь же, сам видишь, никто не жил.

Проклятая, железная логика. Но она не объясняла главного.

— Так письма-то?..

Старик отвёл глаза.

— Видел, как достают. Раз в седмицу. В дом уносят. Там слуга пришлый, не наш. Больше ничего не знаю. В соседнем доме тоже пришлый Сенька шастает, раз в семь — десять дней. Проверяет, не растащили ли.

У Юры внутри что-то щёлкнуло.

Не случайность. Система.

— А Мари Ершова? — выдохнул он. — Вы её не видели? После того как...

Старик покачал головой, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на понимание. Он помнил, как эти дети смотрели друг на друга. Дураку было понятно.

— Вольдемар-то... Володька твой... тогда же, как и ты, с эшелонам отбыл. А дом... С тех пор, как Мари с Сергеем Мироновичем умчали, свету не было. Кроме пришедшего Сеньки, никто не являлся.

Умчали.

Не уехала. Не вышла замуж. Не перебралась.

Умчали.

Василий Игоревич вздохнул, собираясь с мыслями, и посмотрел на Юру прямо, будто прекрасно всё видел, насквозь, с усталой мудростью старого человека, который понял, что другому больно.

— Не гоняйся за теньями, командир. Поезжай к матери. Она одна тебе всё скажет. Коли захочет. А я что... старый пень. Что девчонка с улицы услышит, то и мне перескажет.

Юра долго стоял, перебарывая. Здесь больше не было ответов. Только указатель.

Он кивнул, больше себе, чем старику.

— Спасибо, Василий Игоревич.

Уже у двери взгляд упал на чай, треснувшие очки, бедную похлёбку. Хоть старость и не лечится, но семейного врача вызвать можно. И девчонке за хлопоты помочь хоть продуктами.

— Я к матери съезжу, — сказал он уже спокойнее. — Вернусь, зайду. Договорились?

— Договорились, командир... — В голосе старика прозвучала слабая искорка благодарности. — И удачи тебе, Юр.

Когда он прикрыл за собой дверь, холодный воздух ударил в лицо, как пощёчина, зато внутри уже горел чёткий план: Ласточкин остров — мать — правда. А потом он найдёт и пришедшего Сеньку, и того слугу, что забирал почту. Ниточка за ниточкой. Ему был нужен адрес. И он его получил. А ещё он получил подтверждение: здесь, в этом доме, действовала система. Кто-то забирал почту. Кто-то опечатывал поместья. Кто-то «давал шанс» его матери сбежать.

Отец? Или кто-то другой?

Он бросил последний взгляд на дом Ершовых. «Надолго никто не возвращался».

«Но я вернулся, — подумал он, закуривая. — И теперь я не успокоюсь, пока всё не узнаю. Особенно о тебе, Мари».

Глава 4. Перед дорогой

До Ласточкина острова несколько дней пути. Вернувшись в пустой дом, Юра не стал медлить. Надо было действовать привычно: разведка, связь, план.

Он поднялся в кабинет, сел за отцовский, теперь уже свой, стол, достал писчую бумагу, нашёл чудом не высохшие чернила и написал три письма.

Три выстрела в неизвестность.

Первое — в контору Р. Л. фон Берга. Сухой, чёткий запрос: состояние имущества, статус членов семьи, известные адреса, необходимые действия по факту его возвращения. Он сообщил о чине и факте возвращения, приложил копии документов. Пусть знают, с кем имеют дело.

Второе — в городскую канцелярию. Уведомление о прибытии, запрос по статусу дома. И хитрый ход, родившийся из фронтовой смекалки: соседнее владение Ершовых, не является ли оно городской собственностью? Если нет, то кто подписант для купчей? Это был не настоящий интерес к покупке, а попытка раскрутить клубок, получив хоть какие-то зацепки.

Третье письмо — главное. Не официальное.

Он написал его быстро, почти без помарок, тем самым почерком, которым на фронте писали срочные донесения.

Серёжа.

Не зря оставил мне адрес. Надеюсь, застаю тебя протрезвевшим, сытым и в сапогах. Прости наш юмор.

Ты мне нужен, со всеми твоими ребятами.

Ситуация: вернулся — дома никого. Отец ушёл первым, оставив мать на бюрократическом пайке. Мать сбежала следом. Дома опечатаны. Почту восемь лет системно изымали. Сосед дал адрес матери — Ласточкин остров. У Ершовых та же пустота.

Надо найти брата, мать, Мари и Владимира Ершовых.

Что сделал: подаю официальные запросы, но от них жду мало. Основная надежда на тебя.

К матери еду сейчас. Долго не задержусь, если только обстоятельства не изменятся. Пиши мне до востребования на главпочтамт. Заберу по возвращении и сразу в твою контору.

Все расходы мои. В этом не сомневайся.

P.S. Не против стать моим поверенным? По старой дружбе и новому делу.

Желаю женщин, вина и чтоб голова не болела. Юра Б.

Он отложил перо.

Последние годы изменили его. Один в поле не воин. Эту простую вещь он усвоил слишком хорошо. Ему нужны были все ресурсы: законники, сыщики, связи, люди. Хватит бегать по опустевшим комнатам и выпытывать правду у полуслепых стариков. Пора воевать за свою жизнь другими методами.

Но с матерью — только лично.

Даже если придётся трястись через пол России. Не привыкать.

Некстати в памяти всплыло её лицо в то утро. Не холодное и отстранённое, а оглушённое, застывшее в немом предощущении. Её редкие, пугающие своей непривычностью слёзы.

Юра резко оттолкнул это воспоминание.

Сентиментальность перед операцией — плохой компаньон.

— Сначала разведка, связь, план. А уж потом атака, — пробормотал он в пустой комнате. — Так, кажется, ты, Серёж, говорил? Ну вот и посмотрим.

Письма он хотел отправить лично.

«Эти, казённые, не пропадут? Или почта и их из списков исключит?» — горькая усмешка скривила губы. Он погасил её усилием воли. Брови сошлись хмурыми, решительными дугами.

Но отправить тем же днём не удалось, почтамт уже закрылся. Юра повалился на кровать, не раздеваясь, и уснул почти мгновенно, усталость с дороги просто навалилась и взяла своё.

Разбудил его слабый луч света, упавший на щёку. Он сел и только теперь заметил, что лёг прямо в одежде, поверх пыльного покрывала.

В голове блуждал сон, вернее, его концовка.

Мать поправляет ему воротник выверенным движением сухих пальцев, и гладит по щеке.

— Ну вот, всё и готово. Теперь в путь.

Во сне она была привычной: строгой, немного отстранённой, собранной. Только в самом конце позволила себе тёплое прикосновение.

Юра тряхнул головой, отгоняя уже не сон, а воспоминание, слёзы в её глазах при прощании.

— Чепуха. Нервы.

Поборовшись со старой печью за таз горячей воды, кое-как умылся, вытерся пыльными тряпками и наткнулся на старую отцовскую бритву с костяной ручкой.

Щетина уже начинала напоминать ту самую бороду, которую он терпеть не мог. Тёмная, южная, выдающая кровь. Голубые глаза, тёмные волосы, светлая кожа. Когда-то Мари дразнила его за неё падишахом из сказок Арины Петровны.

— Так и родинку видно на щеке, и улыбка у тебя красивая. А с бородой её и не видно, ты слишком тёмный и вообще словно не ты, а басурманин какой-то, — говорила она, морща нос. — Чудо как хорошо, что сбрил.

Надо ли говорить, что Юра регулярно и методично ликвидировал только начинавшую появляться щетину. Отчаянно хотел ей нравиться. Боже, как давно это было...

Сейчас он намылил лицо, аккуратно сбрил щетину, посмотрел в зеркало. Оттуда глядел всё тот же усталый солдат. С той раздражающей разницей, что казался моложе. Если бы не белые нити на висках, сошёл бы за мальчишку.

«Вряд ли бы ей понравилось: ни то, ни это», — пронеслось в голове.

Питерское солнце было обманчивым, с утра прихватывал холод. Юра повесил шинель в шкаф, аккуратно расправив полы привычным жестом, набросил дорожную накидку. Да и пора бы сменить военное на штатское. Забрав небольшой чемодан и бумаги, вышел на улицу, не задумываясь о том, покидает ли он отчий дом окончательно. Аккуратно прикрыл дверь.

Надо было найти, где сытно поесть. Во всей этой колготне и погонях за прошлым он позабыл о хлебе насущном. Но первым делом был почтамт. Потом билеты.

Он прикурил, убрал спички в карман, и рука автоматически поднялась поправить стойку воротника шинели, как будто та всё ещё была на нём.

Дальше весь день превратился в беготню и склоки.

Несколько часов пришлось провести в канцелярии исполкома. Билет Питер — Москва — Воронеж было невозможно добыть ни на текущую дату, ни на ближайшие недели.

Очередь толкалась локтями и отдавала запахом лука, семечек и сырого сукна, ругалась и спорила.

— Я со вчера записывался, ты вообще кто такой?! — Не видел я тебя в списке, здесь с утра я первым был! — Какой с утра, говорю тебе, с ночи стоим, засунь себе свой утренний список... — Но-но, не было тебя здесь утром, так что пошёл бы ты по холодку, пока в морду не прилетело, рожа буржуйская! — Сам ты буржуй, я с ночи занимал. А ну, поди сюда, шантрапа мелкая!

Завязалась некрасивая драка. Когда подросел милиционер, кассирша уже кричала, что билетов нет и не будет.

Народ начал расходиться, остались лишь самые упорные.

— А я вам говорю, билетов нет! — почти с наслаждением крикнула женщина в окошке и попыталась захлопнуть створку.

Юра рефлекторно успел подставить руку.

— На какие даты будут? — спросил он тихо, но так, что она замерла.

— Я ж тебе не справочная!

— А я вам не мальчишка. Когда откроете продажу?

— Товарищ городской! — зычно гаркнула покрасневшая тётка и потом немного сбавила тон, поправляясь. — То есть товарищ милиционер! — Товарищ милиционер! — рявкнул Юра, снова повышая ноту, да так, что толпа за ним замерла, как в детской считалочке «море волнуется». — Просьба подойти к кассам!

Кассирша потеряла краснощёкость и нервно скривилась. Юра не любил этого, но знал: в такой ситуации нельзя давать слабину. «Вежливость — лучшее оружие вора, а взаимовежливость — судьи», как говорил атаман.

Потом был участок, затем райисполком, после него секретариат. Везде приходилось показывать бумаги, давить, не переходя на крик, и быть полезным ровно в тот момент, когда тебя хотели сжевать и выплюнуть.

Помогли рекомендательное письмо, напор и взятые на себя обязательства «сопроводить родственницу» помощника прокурора.

— Сонька! — окликнул в секретариате лощёный чиновник. — Приданое, смотри не забудь. И приветы Алексею Демидовичу.

— Он будет очень рад! — вскинулась она, и губы презрительно изогнулись. — Всенепременно... — усмехнулся чинуша, кивая с недоброй улыбкой, явно демонстрирующей совершенно обратное. — Товарищ, обратный выписали на предъявителя, действителен до даты, без выбора места.

Юра развернулся, сжимая в кулаке три картонных прямоугольника, пахнувших типографской краской и унижением.

Навязанная попутчица, та самая, в котиковой шубке, поспешила за ним тяжёлым, рубленым шагом. Казавшиеся в конторе стройными ноги косолапили, на телесных фильдекосовых чулках и подоле юбки чернели пятна от луж. Удавка искусственного жемчуга на шее поблёскивала тускло, как глаза мёртвой рыбы.

Он пытался на неё не смотреть.

Они зашли в привокзальную столовую. Взяли солёных огурцов, печёный картофель, хлеб, немного сала. До отправления времени оставалось в обрез.

— Ну и место, — вытащила платок Соня, прижав к носу. — Пахнет так, будто тут ночуют прямо в котлах.

— Пойдём, — коротко бросил Юра, подхватывая свой портфель и её чемодан. — Сейчас перекурю и двинемся. В толпе на перроне не до того будет.

— А что, без папирос никак? Нервы сдают?

Он резко остановился, так что Соня чуть не впечаталась ему в спину. Поставил вещи, чиркнул спичкой.

Рядом раздалось:

— Парень... закурить не найдётся?

Голос был сиплый, выдохшийся, без интонации. Просто ритуал.

Юра повернул голову и увидел мужика в шинели. Не просто в шинели, а в его шинели. В такой же точно, что сейчас висела в шкафу в пустом кабинете. На чужом плече она обвисла мешком, рукава были длинны и потёрты. Бурые пятна на одном из них. Левая кисть мелко, неумолимо дрожала, как птица с перебитым крылом.

«Не та на тебе шкура», — подумал Юра.

— Не только закурить, — тихо сказал он и шагнул вперёд. — Прикурить дать могу. Или дать прикурить. Выбирай.

Это был не вопрос и не угроза. Это была граница двух миров. Мира тех, кто уже сдался, чьи руки предали их, и мира тех, чьи руки, грязные, в ссадинах, с жёсткими мозолями на пальцах, всё ещё помнили и вес оружия, и точность прицела. Помнили тепло кожи Мари под подушечками пальцев у виска. Помнили, как выводили буквы в письмах, которые так и не дошли. Граница, которую не стоило пересекать.

Мужик отпрянул, увидев в нём не молодого барина, а того, кого эта шинель сшивала по-настоящему с пылью дорог, пороховой гарью и волей к жизни, которую уже нельзя отнять. Он что-то буркнул и поспешил прочь шаркающей походкой, унося чужую шинель и своё окончательное поражение.

Юра стоял, следя за ним взглядом. Желудок был сжат в тугую, холодную комок. Да, он мог стать вот этим. В этой же шинели, с этой же дрожью. Система работала именно на то, чтобы перемолоть его в такую безымянную труху, без имени, без памяти, без права на собственный взгляд и боль.

Вот уж нет.

Пока руки помнят. Пока есть злость. Пока сердце ещё умеет различать, где он, а где уже нет.

Когда он обернулся, Соня смотрела на него широко раскрытыми глазами. Уже не с брезгливостью, а со страхом.

— Пойдём, — повторил он и зашагал к перрону.

Глава 5. В поезде

В вагон набились люди, полупьяные, полуголодные, злые, сонные и разбитные. Всякие. Стекло в окне было треснуто, а в верхнем углу зияло аккуратное круглое отверстие. «Выстрел», — подумал Юра. «Странно, что не заколотили доской».

Из-за тесноты холод немного отступал, но накатили запахи. Пот, спирт, мужские ноги, тухлые яйца, испорченное мясо, махорка. Не сказать, что это особенно раздражало: он нюхал разное и знал, это всего лишь грязные люди и протухающая пища, не более. Прикрыв глаза, Юра попытался отвлечься.

Вспомнилось, как он впервые припустил на лошади по имению. Гнедая была быстрая, как пуля. Он промчался вдоль кромки леса: ветер пах хвоей, листвой и свежестью. А потом с упоением рассказывал об этом Володьке и Мари.

— Да у тебя глаза блестят, смотри шею не сверни, всадник, — подшучивал Володя. — Я вот раз с Грозного рухнул, и хорошо, что только вывихом отделался.

— А ты промчи вдоль пастбища, куда Кузьмич скотину гоняет, — совершенно серьёзно вставила Мари. — Интересно, как будет пахнуть навоз на полном скаку?

Они оба расхохотались.

— И вовсе не смешно! — фыркнула она, едва не плача от собственного смеха. — Мне правда интересно!

Смеялись уже втроём.

— Не так уж и плох запах навоза, — пожала она плечами, успокоившись. — Для меня это запах деревни. А я её в общем-то люблю.

— Хочешь, закажем тебе духи у парфюмера: «À la pavoze»? — подёргал бровями Володька, хитро улыбаясь во всё лицо. Он не сумел состроить столь же серьёзную мину, как Мари, но эффект всё равно был достигнут.

— Не-е-ет, — стонала она сквозь смех.

— Мухи на балу, конечно, совсем не к месту... но оригинально, — самым рассудительным тоном добавил тогда Юра.

Он поймал себя на том, что улыбается этим воспоминаниям. Обе его пропажи, любимая и друг, вдруг стали почти осязаемы. Пропажи, которые он всё равно найдёт.

— Боже, какая же вонь! — простонала рядом Соня.

Она вытащила белый платок, пузырёк с отбитыми краями и, побрызгав на ткань, стала время от времени прижимать её к носу. Через несколько минут раздражённо буркнула что-то себе под нос и уже стала брызгать духами прямо вокруг себя.

Запах был сладкий, тяжёлый, едкий — такой, от которого хочется отсесть подальше и не вдыхать.

Не прошло и минуты, как Соне стало дурно. Её затошнило, и было видно, как трудно ей удерживать себя в руках.

— Вот вам и женская доля, — прошипела она. — Родишь наследничка, а тебя потом, как использованную тряпку. Все мужики одинаковы. Только ценник у каждого свой.

Юра молча отвернулся.

Не все одинаковы. Просто не всем это объяснишь.

И в памяти всплыл другой воздух. Конец шестнадцатого. Госпиталь после Вердена. Ранение неглубокое, но обширное, заражённое, потому что после боя было не до раненых. Многих можно было бы выходить, если бы не проигранное время. Но ему повезло.

Он вспомнил, как приходил в себя после горячки. Заметил сестру милосердия, не то чтобы красавицу, но с ясным, добрым лицом и удивительно спокойными руками. Она не суетилась, не сюсюкала и не делала из боли спектакля.

Поначалу они почти не говорили. Потом стали понемногу: во время дежурств она рассказывала о своём детстве в Петербурге, о своей учёбе, о каких-то смешных мелочах. С ней оказалось легко. Почти так же, как с Володькой или с Мари: казалось, можно рассказать всё, и ты откуда-то знал, что тебя поймут, и поймут верно. Они не говорили о войне, потому что и так знали её изнанку. Между ними возникло тихое понимание двух уставших, но не сломленных людей. Он не пытался быть героем: видел её простое, тёплое отношение к измученному мальчишке. Да и ей не нужен был герой. Скорее человек.

Когда рана снова забродила, Оля выхаживала его, почти не отходя. В бреду он схватил её за руку, звал «мама», потом — «Мари».

Позже он мучительно смущался этого. Она — нет. Просто сказала:

— Всё хорошо. Выживешь. Держись.

Он до сих пор испытывал что-то щемящее внутри, какую-то неуловимую грусть, когда мысленно касался тех дней, Оли. Можно сказать, благодаря ей, он снова начинал ходить.

Однажды вечером, дежуря у окна, она сказала, не глядя на него: «Вы её очень любите. Ту, чьё имя звали». Юра промолчал, а потом кивнул: «Да. Больше жизни».

А потом бомбёжка. Стекло посыпалось в палату, и она инстинктивно бросилась не под койку, а к нему. Закрыла его собой от осколков.

Именно это запомнилось сильнее всего: не её слова или глаза, а то, как она потом отряхивалась, смущённо и почти виновато:

— Извините. Само собой как-то.

Тогда в нём что-то лопнуло, с оглушительным звоном. Ему дико хотелось тепла, живого, настоящего человеческого тепла, а не воспоминания о нём. И он испугался сам себя.

На следующий день он, помогая Оле перевязывать другого, случайно коснулся её руки. Она вздрогнула и посмотрела на него. В её глазах не было служебной заботы, а трепет, надежда и готовность. Нельзя скрыть то, что есть и выказать то, чего нет. Сердце отдавалось бешеным ритмом в висках. Юра сказал: «Спасибо, Ма...» И замер. Он почти назвал её Мари. Не в бреду, а в ясном уме. От смущения, от боли, от смещения чувств.

Оля только тихо улыбнулась. И в этой улыбке было столько грусти и понимания, что хотелось отвернуться.

— Всё в порядке, Юрий Александрович. Я не она. И не хочу быть ею на время.

Когда его выписывали, она проводила его до ворот и сказала:

— Я не верю, что Бог нас наказывает. Думаю, мир просто жесток. Но я верю в одно: единственная настоящая любовь даёт человеку как компас. Чтобы он не потерялся совсем в этом аду. Ваш компас — она. Идите по нему. Найдите свою Мари. Потому что иначе всё это, и мои дежурства, и ваши раны, и вся эта проклятая война, — всё будет окончательно и бесповоротно зря.

Он тогда взял её руку и приложил ко лбу — не как руку женщины, а как руку святой.

— Прости меня.

— Не за что. Иди.

Так что нет, подумалось ему теперь, люди бывают разными. Оля — чистая, светлая, отпускающая. Соня — грубая, цепкая, озлобленная и насквозь фальшивая...

В этот момент из угла поднялась женщина лет пятидесяти с простым, усталым лицом. Из тех, кто повидал всякое и уже не тратит сил на лишние выражения.

Она дотянулась до сумки, лежавшей неподалёку под скамьёй, и стала молча копать в узле, что выудила оттуда, достала крынку с солёными огурцами, каравай, завернутый в тряпицу, и большую шерстяную шаль.

Подошла к Соне. Не глядя на Юру, низким хриловатым голосом сказала:

— На, детка. Закуси. От тошноты помогает. И с голоду не помрёшь.

И сунула ей в руки огурец и ломоть хлеба.

Соня посмотрела на неё растерянно, почти затравленно. Её циничная маска дала трещину.

— Да вы что... Я не...

— Ешь. Не ломайся.

Женщина отломала и себе кусок, громко захрустела огурцом, словно показывая: всё в порядке. Присев поближе к Соне, развернула шаль.

— И ноги у тебя голые. Простудишься и ребёнку хуже будет.

Она укрыла шалью сначала колени Соньки, потом свои, одним движением создав общее тёплое пространство.

Соня замерла. Потом губы её дрогнули. Она откусила хлеб, и слёзы, самые настоящие, не для манипуляции, покатались по щекам, смывая часть румян. Она отвернулась к окну, пряча лицо.

Юра смотрел на это и вдруг увидел не вульгарную девицу, а просто испуганную, не очень умную девчонку, которую везут к богатому любовнику, потому что больше ей деваться некуда.

Женщина поправила сползшую шаль у неё на коленях, и этот жест, точный, хозяйский, почти животный в своей заботе о тепле и сытости, вдруг высек в памяти искру.

Их кухарка Таня когда-то точно так же заворачивала в свой платок замёрзшую дворовую кошку с перебитой лапой. Тот же набор действий: занести в тепло, накормить, дать выжить. Без сантиментов.

Юра с неприятной ясностью понял, как узко смотрел ещё час назад.

Что бы сделала Мари на его месте? Смотрела бы на Соньку с таким же отвращением? Или, как эта женщина, молча пододвинула бы хлеб?

Кто он тогда? Кто прав? Сонька, которая продаётся? Эта женщина, которая не осуждает, а кормит и укрывает? Или он, который слишком долго делил мир на чистых и грязных, своих и чужих? Который был готов растоптать в другом своё же отражение в шинели?

Женщина доела, завернула остатки, кивнула Юре без вражды и прикрыла глаза. Соня перестала всхлипывать, уткнулась в окно и постепенно уснула, положив голову ей на плечо.

Юра отвернулся к стеклу. Но видел там уже не тьму, а собственное отражение поверх ночных огней. И в этом отражении не было ни героя, ни мстителя. Только уставший мужчина, который слишком долго держался за слишком простые деления.

Когда поезд затормозил на полустанке, женщины вышли. Перед тем как исчезнуть в темноте, пожилая обернулась и коротко кивнула ему, просто отмечая его присутствие, как факт.

«Ты здесь. Я здесь. И ладно».

Юра остался у треснутого окна один. Достал папиросу, но не закурил, а просто вертел её в пальцах. Руки помнили. Винтовку. Тёплую шею Мари. Бумагу писем. Всё.

«Обсудим», — всплыло её слово.

Теперь оно звучало не как обещание, а почти как приговор. Обсуждать можно только то, что уже случилось. А он ехал не за фактами. Он ехал в эпицентр землетрясения, разрушившего его мир.

И страшнее всего ему была не ярость, а тишина после.

Поезд дёрнулся и пополз дальше, к Ласточкину острову, к матери, к правде. В сторону моря и неотвратимого утра.

Глава 6. Ласточкин остров

Последние вёрсты до Ласточкина острова Юра проделал на рыбацком баркасе. Ветер с моря был сырой, солёный и злой. Он лез под воротник, забирался за пазуху, пробирал до костей, напоминая одновременно и о холодных осенних караулах, и о тех сыроватых окопах, где никогда толком не высохали ни сапоги, ни мысли. Только здесь пахло не гарью и кровью, а йодом, гнилыми водорослями и ещё чем-то стариковским, безысходным, как на пустом берегу после шторма.

Дом на острове стоял низкий, длинный, побелённый когда-то, а теперь облезлый, с потемневшей от ветров штукатуркой. Не усадьба, не дача, а скорее больничный флигель или сторожка при чужом, давно закрытом санатории. В двух окнах горел жёлтый свет. Слабый, скупой. Не домашний даже, а рабочий, как будто его зажгли не для встречи, а просто потому, что пришёл час зажигать лампу.

Юра сошёл на причал. Под сапогом хрустнули раковины. Он машинально посмотрел вниз. Белые, розоватые, серые, все битые, сточенные, перетёртые в крошево. «Всё выносит, всё уносит», — вспомнились слова старика Ворохова. Волны за спиной глухо гудели. Это показалось ему дурным знаком, хотя в дурные знаки он не верил.

Он поднялся к двери. Ни звонка, ни колокольца, только доска с щелью для писем. Постучал. Звук получился безнадежный, словно уходящий в вату.

Шаги внутри были неспешные, ровные, без суеты. Такими, какими они были всегда, размеренными, предсказуемыми. Так ходила мать, когда хотела держаться прямо, даже если внутри всё дрожало. Ни за что не покажет. Ни на шаг не сойдёт. Сначала это раздражало его в детстве, потом смешило, теперь почему-то ударило прямо в сердце. Он готовился к бою, а здесь его встречал тот же ледяной, выверенный порядок.

Дверь открылась.

Анна Артемьевна стояла на пороге с лампой в руке. Не распавшаяся, не обрушившаяся, не сломленная. Сухая, прямая, в тёмном платье, почти чёрном. Волосы убраны по-прежнему аккуратно, только седины стало куда больше, а скулы заострились. Но глаза... глаза всё портили. В них было что-то такое, что не укладывалось ни в строгую мать, ни в брошенную жену, ни в барыню, ни в жертву. Как будто она все эти восемь лет жила внутри одного-единственного страшного ожидания.

— Юра, — сказала она так тихо, будто боялась спугнуть его одним лишним звуком.

И всё.

Ни «слава Богу», ни «сын», ни слёз. Только имя.

— Матушка, — хрипло отозвался он.

Она на мгновение прикрыла глаза, будто это слово пришлось ей не по сердцу, а по старой привычке.

— Заходи. Я знала, что ты приедешь.

Он вошёл следом за ней в маленькую гостиную. Стол был накрыт заранее. Самовар, чашки, блюдо с хлебом, мисочка с вареньем, ромашковый чайник в грелке. Всё скромно, даже бедно, но точно и заблаговременно приготовлено. Это было хуже слёз. Слёзы хоть что-то объяснили бы. А здесь выходило, что она ждала. Ждала молча, не умея даже этой встречи не превратить в чинную процедуру.

— Садись, — сказала она. — Ты продрог с дороги.

Юра сел. Пальцы на коленях сжались. Её голос был ровным, почти врачебным. Анна Артемьевна не смотрела на него, а изучала струйку чая. «Как много слов с порога», — подумал он. А хотелось, чтобы его обняли.

Она налила чай, пододвинула хлеб и, не глядя ему в лицо, спросила:

— Рука всё так же беспокоит? И спина? Ты тогда в семнадцатом писал скупое. Я не поняла, насколько серьёзно было.

Вот тут ему захотелось рассмеяться. Или ударить кулаком по столу. Или просто уйти. После восьми лет тишины она спрашивает о руке. О спине. О том, как он спал в госпиталях.

— Я жив, как видишь, — сказал он. — И даже хожу своими ногами.

Женщина кивнула, словно записывая это куда-то про себя.

— Я вижу. Но живой не значит целый.

— Рука зажила, — словно рапортом выдал он. — Хрящ ноет к непогоде, но стрелять могу. Контузия... шум в ушах прошёл. Ноги... зажили. Всё в порядке. Ты хочешь узнать что-то ещё конкретное?

Он произнёс последнюю фразу слишком резко. Она молча кивнула. Потом её взгляд медленно поднялся к его лицу, к синеве под глазами. Анна Артемьевна впервые за всё время посмотрела прямо.

— Ты спишь по ночам? — спросила она.

И вот это как раз его почти добило.

Потому что вопрос попал не в руку и не в спину, а в самое нутро. В ту тетиву, которая в нём была натянута давно и всё никак не могла ослабнуть.

Он резко отставил чашку.

— Ты сейчас серьёзно, мама?

— Более чем.

— Как мне спится?! — вырвалось у него хрипло. Он отшвырнул стул, встал во весь рост, задев стол. Чашки звякнули. — Ты спрашиваешь, после всего?! Ты, которая... — Он задыхался, тыча пальцем в её сторону. — Ты только что сказала — «писал скупое». Значит, получала. Ты читала! И могла отправить ответ! Могла! Так почему ни строчки?! Ни звука? Хотя бы «живы, здоровы»! Хотя бы «я здесь»!

Его трясло. Но Анна не отпрянула. Она сидела, застыв, вцепившись руками в кромку сиденья, словно стул мог потерять опору.

— Я не могла писать тебе правду, — тихо сказала она. — И лгать не могла. Это было... хуже, чем ложь.

— А то, что было, значит, лучше?

Она подняла голову. И в голосе её вдруг появилось что-то живое, злое, уязвимое.

— Что я должна была тебе написать? Что твой отец ушёл? Что Пётр... — она запнулась и проглотила конец фразы. — Что всё рухнуло? И что бы это дало тебе там, на фронте? Ты бы только погиб раньше.

— А так я должен был жить в блаженном неведении? Очень милосердно.

— Не в неведении. В надежде.

— Надежде на что? Что никто не отвечает просто потому, что почта дурно работает? Что вы заняты? Что я вам больше не нужен? Или что вас всех пожрала война и черви на Новодевичьем? Что?!

— Не смей, — быстро сказала Анна.

— Почему не смей? Ты сама всё так устроила. Или позволила устроить? Ты знала, что я жив. Я этого о вас не знал!

Юра видел, как ей тяжело держать лицо, но сейчас это не вызывало жалости. Только злость. Слишком поздно.

Она молчала, потом вдруг сказала совсем другим голосом:

— Я знала, что ты согласишься, — выдохнула мать; голос стал глухим. — О ней. О письмах. Я... не могла написать правду. И врать не могла. Это была сделка с дьяволом, Юра. Соврать один раз молчанием. Пока я жила с отцом, всю почту забирал и отправлял он. Потом — его

человек. Если бы я написала тебе... он лишил бы нас всего. Наследства. Обеспечения. А потом, здесь... Когда его не стало...

Упоминание Мари прозвучало, как нож. Она замолчала, словно проживая болезненный эпизод. Лицо стало бледным, приобретая пепельно-серый оттенок. Потом взгляд медленно вернулся к Юре.

— Я многое должна была написать, Юр. Я не смогла, — сказала она ровно, но эта ровность была хрупкой.

— Прекрасный ответ.

— Не думай, что я волновалась о деньгах! — Её голос вновь сорвался, предавая хозяйку. — Зная, что тебе там, на той бойне, плохо... я не могла на тебя всё это свалить! Ты должен был выжить! А для этого тебе нужна была... хоть какая-то надежда! Пусть даже ложная!

Юра медленно наклонился вперёд.

— Красиво. — Ему захотелось сплунуть на пол. — Говори по-человечески.

Анна Артемьевна прикрыла глаза.

— Что?

— Правду, мама! Правду! Про Мари, про Петю!

— Что твой брат, единственный, кто остался верен присяге, отрёкся от нас, как от перебежчиков? Что он променял родных на польский флаг? Что отец бросил нас? И что он объявил Мари любовью всей своей жизни, и они уехали вместе? Это ты бы хотел прочесть?

Юра онемел.

— И я своей рукой, — продолжала она, и каждая фраза была как удар ножом, а голос лился на удивление ровно, — должна была тебе написать, что она... Что Мари уехала. Добровольно. Выбрала его. И что с тобой стало бы тогда, на фронте? Скажи!

Она замолчала. В её глазах стояли слёзы, выжигающие изнутри.

— Все бросили нас с тобой. — Сухим итогом выдала Анна. — Я не могла сказать... Не знала, как...

Юра замер.

— И ты в это поверила?

Она отвела взгляд и долго молчала, пытаясь совладать с дыханием.

— Я надеялась, если ты узнаешь, как это выглядело... что она уехала по своей воле...

— Ха! — Вырвалось у Юры почти истерическое куда-то в потолок. Он начал мерить шагами комнату, нервно разминая левой рукой пальцы правой, которая пыталась сжаться скрюченной судорогой в кулак. Анна вдохнула глубже и продолжила.

— Я говорила с Сергеем Мироновичем... Это... так. Юрочка, — голос треснул, — это бы и тебя раздавило. Я думала убережешь тебя от этой... грязи. А потом ты остыл бы. Ты поймёшь...

— Пойму что? — Он подошёл к ней, наклонился, облокотившись одной рукой о стол, а другой о спинку её стула, и заглянул в глаза. В них был затравленный, отчаянный страх, смешанный с чем-то ещё, горьким, смертельно ядовитым, почти болезненным. Она качнулась несколько раз, словно пытаясь совладать со спазмом или порывом, сохранив лицо. Но маска слетела.

— Поймёшь, что она не та! — Голос матери зазвенел прорывным торжеством отчаяния. — Что могло двигать ею, шестнадцатилетней девчонкой, кроме денег или расчёта, чтобы уехать с Сашей? Что? Сергей Миронович, а ты прекрасно помнишь, что он в дочери души не чаял, отпустил её с чистым сердцем! И ты знаешь, что это значит! Вот такая она, твоя Мари!

Женщина выплнула яд и продолжила, пытаясь приводить доводы:

— А так ты бы никогда не узнал достоверно, могла ли девчонка влюбиться в мужчину старше своего отца. По любви или за деньги — неважно, ты бы забыл. — Взгляд её стал лихорадочным, и с каждым словом она будто убеждала уже не его, а саму себя. — Всё равно никто не знает, где она сейчас, даже фон Берг.

— Ты её боишься, — тихо сказал Юра.

Мать резко вскинула голову.

— Что ты сказал?

— Боялась. Потому что она была молода. И ненавидела, потому что он выбрал её вместо тебя.

— Замолчи! — Вырвалось у неё надорванным, животным звуком, но Юра продолжил.

— Потому что тебе легче было поверить в её расчёт, чем в его мерзость. Нужно было. Знаешь почему? Ты на что-то надеялась. Это мне надеяться не положено. Ты за меня всё про себя уже решила.

Она резко отодвинулась. Лампа качнулась, и тень метнулась по стене. Он опустил руки, выпуская мать и давая ей встать. Анна вскинула голову выше, и на лице вновь появилось до боли знакомое выражение. В комнате словно повеяло холодом.

— Не смей говорить со мной так.

— А как с тобой говорить? Как с бухгалтером? Как с жертвой? Как с матерью, которая восемь лет молчала?

— Я делала, что могла!

— Нет. Ты делала, что могла вынести.

Она открыла рот, будто хотела ответить резко, но вместо этого вдруг устало сказала:

— Иди к Бергу. Если тебе нужна форма. Документы. Адреса. Всё это у него. У Роберта.

Он тебе разложит по бумагам.

— Мне не нужен бухгалтер, матушка.

Эти слова он почти выплюнул. Вышел в прихожую, схватил свою дорожную накидку. Из кухни показалась худенькая девчонка с узелком.

— Это вам в дорогу, — пробормотала она, не поднимая глаз. — Анна Артемьевна велела. Хлеб ещё тёплый. И сыр.

Юра взял свёрток машинально.

— Она... всегда так, — добавила девчонка совсем тихо. — С того дня, как закончилась война. Каждый день к этому часу ставит самовар с ромашкой. И хлеб велит печь. Говорит, мало ли...

Он посмотрел на неё пристально.

— Мало ли что?

— Мало ли вы вернётесь. Говорит, Пётр Александрович, братец ваш, свежий хлеб любит, а вы... ромашковый чай.

Вот это было почти невыносимо.

Не слова матери. Не её оправдания. Не даже Мари. А то, что все эти годы она, может быть, вправду держалась за чайник, хлеб и порядок, как за последний способ не сойти с ума.

Юра молча сунул узелок под мышку и вышел навстречу ветру. Свёрток с хлебом обжигал ладонь сквозь ткань. Он шёл по ракушечному берегу к причалу, не видя ничего перед собой.

Море за домом гудело тяжело, как будто тоже было недовольно тем, что правда опять оказалась не правдой, а полуправдой, и опять из неё торчали острые, ржавые края.

Глава 7. Дорога обратно

Он сел в качающуюся на волнах лодку. Рыбак что-то крикнул, отталкиваясь от берега. Юра не ответил. Он смотрел на удаляющийся огонёк в окне дома, где женщина, только что назвавшая его любовью грязной и продажной, теперь, наверное, молча убирала со стола нетронутые чашки. И заваривала на завтра новую порцию ромашкового чая. На всякий случай. Вдруг.

Это было хуже любой ненависти: непростительно и абсурдно.

Он так и не оглянулся больше, когда лодка причалила к материку. Узелок с хлебом, ставший теперь остывшим и тяжёлым, словно гиря, болтался в его руке. Дорога до станции слилась в одно мутное пятно под ногами. Звуки мира доносились будто сквозь толщу воды: крики грузчиков, гудок паровоза, плач ребёнка. Всё это не имело к нему отношения. Внутри царил оглушительная, парализующая тишина после того шторма откровения. Как после близкого разрыва, когда сначала звенит в ушах, а потом медленно начинаешь понимать, что ещё жив и надо снова считать людей, патроны, дорогу.

Только когда он втиснулся в вонючую теплушку, прислонился к липкой от грязи стене и почувствовал, как содрогается и трогается вагон, эта тишина начала заполняться иным гулом, гулом нарастающей мысли.

В тёплом, спёртом воздухе теплушки, под drobный стук колёс, в голове Юры назойливо, как заевшая пластинка, крутилось одно слово: «добровольно».

Добровольно уехала. Добровольно не писала. Добровольно исчезла. Добровольно отдала себя на растерзание чужой жизни.

Про Мари говорили так, будто она или соблазнила отца, или дала ему согласие, или её вообще уже и не было как живого человека, а был только скандал, который надо как-то уложить в приличные слова.

Юра прикрыл глаза, пытаясь не додумывать последнюю мысль, по позвоночнику пробежал холодок от самой макушки куда-то в пятки. Если такая мысль вообще придёт, то пусть последней.

От этого захотелось вернуться и встряхнуть из матери что-то ещё: уже не слова, а настоящую правду, если она вообще ещё осталась под всеми этими слоями стыда, страха, гордости и женской злобы.

Он с силой разжал кулаки, почувствовав, как ногти впились в ладони.

Но если отставить в сторону всю эту... обиду. Просто подумать. Зачем изолировать Мари? Системно изымать её почту? Так фундаментально замечать следы? Организовывать переезд как продуманную военную операцию? Общаться с матерью через письма поверенного? Отец ведь не писал ей напрямую, о чём явственно сказали те бумаги в кабинете...

Такое у тебя «добровольно», матушка? Чёрта с два. Не клеится ваше папье-маше!

Взгляд упал на вновь автоматически сжатые пальцы. От этой гасительной реакции, дошедшей до автоматизма, никак не получалось избавиться. Юра резко выдохнул, разжал их, положил ладони на колени и смежил веки, отсекая внешний мир.

И только теперь он позволил себе впервые за всё время собрать услышанное не сердцем, а головой.

Письма забирали, значит, надо найти Сеньку. Отец держал мать на привязи не только деньгами. И после его ухода система не рассыпалась сама собой. Поверенный должен быть в курсе многого. Мари исчезла так, как исчезают не беглянки, а люди, за которыми следят. Пётр тоже исчез слишком удобно. Надо искать Петра и Володю, а с этим лучше к Сергею. Всё это не семейное безумие, не одинокая женская истерика. Это дело.

Эта мысль была холодной, почти сухой. И именно поэтому полезной.

Сначала понять. Потом найти. Потом уже всё остальное.

Он глубоко затянулся папиросой и впервые за этот день почувствовал не облегчение, нет, но что-то похожее на возвращение опоры под ноги.

К вечеру нужно было быть у Сергея.

Главный риск — время. И та самая ярость, которую он загнал в чулан сознания, но она билась там, грозя сорвать всё одним неверным движением. Терпение. Терпение и точность. Один неверный шаг, и след исчезнет навсегда.

Он открыл глаза. В окне серело. Не было усталости. Было напряжённое, звенящее состояние перед атакой. В кармане пальцы сжали уголок записки. Всё ещё талисман. Но теперь ещё образец почерка, как вещдок.

Поезд, фыркая, ещё не замер под сводами Николаевского вокзала, а Юра уже спрыгнул на перрон, не дожидаясь полной остановки. Холодный, пропитанный угольной гарью, воздух вокзального Петрограда ударил в лицо, но внутри горел уже чёткий маршрут. Он поймал первого попутного извозчика и назвал короткий адрес на Гороховой, в полуподвал, который теперь должен был стать его штабом. Отсюда всё и начнётся.

Глава 8. В конторе Сергея

Контора оказалась открыта даже в такой час. За конторкой сидел щуплый молодой человек в пенсне. Увидев Юру, он отложил перо.

— Вынужден был выехать по одному следу, но оставил сообщение. — Он протянул руку. — Алексей Пономарёв, помощник Сергея Петровича.

— По какому следу? — тут же спросил Юра, коротко пожав ладонь.

— По тому, что вы указали в письме. — Молодой человек кивнул на бумагу. — Про «пришлого Сеньку». Сергей Петрович сказал: «Имя может рассказать многое. Найду — узнаем, кому он служил и что видел». Он этим сейчас и занят. По поводу домов ваших и ершовских... — Служащий сделал небольшой, значительный жест, будто отмахиваясь от чего-то несущественного. — Он считает легальные запросы пустой тратой времени. Дома эти всё равно отнимут, «выдав по потребностям», как теперь говорят. Искать нужно не бумаги, а людей.

Юру будто ударило током. Сергей уже в деле. И мыслит так же.

Слово «добровольно» прозвучало материнским голосом в голове, которое внутренне сразу хотелось опротестовать.

«Мы всё узнаем. Найдём», — утвердил в который раз про себя Юра.

— Он просил передать, — продолжил служащий, — что дело запущено. Некоторая информация уже собрана. Есть один свидетель, который кое-что подтверждает. Сергей Петрович наказал: если вы появитесь, передать, чтобы за ним послали. Он приедет переговорить лично, согласовать дальнейшие действия. — Молодой человек слегка улыбнулся. — Вы же знаете Сергея Петровича. Он не успокоится, пока не будет знать все входы и выходы. А он... сейчас спокоен. Значит, он уверен, что след верный.

Юра слушал, и мышцы лица дрогнули, словно сбрасывая тот самый ледяной зажим, который держал его с Ласточкиного острова. В глазах, всё ещё острых и уставших, мелькнуло облегчение. Он встретился взглядом со служащим и кивнул медленно и весомо, со всей ясностью: ты мне помог, я это принял и отметил.

— Спасибо, — сказал он. — Он найдёт меня по старому адресу. Я обязательно его дождусь перед визитом к поверенному.

Парень кивнул и удалился в кабинет. В конторе стало тихо. Юра достал из внутреннего кармана смятый листок. Разгладил его ладонью по столу. «Не ищите». Он вгляделся в буквы. Крупные, но нечёткие, неровные — будто рука привыкла к другому наклону или писала в спешке, скрывая собственную манеру. И язык... Пётр, который в гимназии блестяще знал немецкий и мог цитировать Ключевского, не написал бы это сухое, казённое «по причинам, которые они поймут». Нет. Это не его слог. Это слог канцеляриста, составившего отписку. А «Пётр» в подписи был выведен с неестественно прямым, ученическим наклоном, как учатся писать дети. Что, если Петя не уезжал? Если всё это — такой же обман, как «добровольный отъезд» Мари?

— Алексей, — позвал он, словно команда на плацу вырвалась, отрывисто и громко. Дверь открылась через пару секунд. Парень не ожидал, что гость остался. — Слушаю, Юрий Александрович. Вы вспомнили что-то ещё?

— Да. — Он протянул записку Алексею. — Это я нашёл дома в кабинете отца. Бумага фамильная, почерк странный. Мне кажется, это фальшивка. Надо найти ниточку. Любую.

Алексей бережно взял листок, поднёс к свету, скользнув взглядом по водяным знакам с тем же деловым спокойствием, с каким принимал все поручения.

— Я всё передам. Сергей Петрович должен вернуться к ночи или завтра утром.

Юра кивнул и натянул накидку. Теперь у него были не только жгучее желание и собственная стратегия. Был первый, осязаемый результат по Мари. Серёга работал. След был. Это

меняло расстановку сил. *«И теперь, возможно, есть шанс докопаться и до правды о Петре»*, — подумалось с новой, острой горечью, когда он выходил на улицу и в лицо ударил прохладный свежий ветер.

Следующим этапом значился дом. Братя. Он двинулся по знакомой улице, шаг быстрый и ровный, но в груди под рёбрами ныла знакомая пустота. Нельзя надеяться впустую. Велика вероятность, что оба... не вернулись. Эта мысль, холодная и рациональная, шла рядом с ним, как тень. Она была не отчаянием, а оценкой рисков, которую он делал ещё на фронте перед отправкой разведгруппы.

Если за дверью будет тишина... Что ж, тогда он вернётся в свой пустой дом, дожждётся Сергея, а потом — фон Берг. Операция не отменялась. Менялся лишь порядок действий.

Он свернул в свой переулок. В окне дома Ершовых горел свет.

Глава 9. Свет в окне Ершовых

Юра подошёл к дому Ершовых. Сенька? Или? Он постучал.

Шаги изнутри были неспешными, тяжёлыми. Мужскими. Дверь открылась.

Свет из прихожей упал на фигуру в дверном проёме, ослепив на миг. Юра шурился, различая сначала только силуэт: высокий, поджарый, в расстёгнутой на тощей шее гражданской рубашке. Пахнуло лекарственной настойкой, старыми книгами и холодным пеплом из камина.

Потом зрение приноровилось.

Юра увидел лицо, бледное, почти прозрачное на скулах. Губы тонкие, плотно сжатые. Но глаза... зелёные глаза Володи, всегда смеявшиеся первыми, сейчас были пустыми. Не мёртвыми, а остекленевшими, будто покрытыми тончайшей коркой льда. В них не было ни вопроса, ни удивления, только усталая, автоматическая фокусировка человека, слишком долго вглядывавшегося в мелкий шрифт при плохом свете. Он стоял, чуть подавшись вперёд, словно привык наклоняться к постели больного, а плечи были неестественно опущены и сведены. Правая рука, длинная, с тонкими, невероятно чистыми пальцами, едва заметно подёргивалась; большой палец машинально тёр указательный точным, выверенным до миллиметра жестом.

И вдруг эти остекленевшие глаза встретились с его взглядом.

Что-то в них дрогнуло. Лёд треснул. Мышцы вокруг глаз чуть смягчились. Уголок рта дернулся, потянулся вверх, и на мгновение получилась мимолётная, грустная улыбка, тут же растаявшая, но успевшая сказать без слов: «Как хорошо, что это ты».

Владимир увидел на пороге фигуру в пальто-накидке, заляпанном грязью до колен. Свет выхватил резкие тени под скулами, впалые виски, над которыми в тёмных волосах кое-где пробивались тонкие седые нити. Молодое лицо, словно состаренное под патиной. От него пахло железнодорожной копотью, махоркой и дорожным потом. Юра стоял, слегка расставив ноги, как будто качка вагона ещё не отпустила его или он по привычке готовился к прыжку. Его руки были сжаты в кулаки в старой, окостеневшей готовности. Голубые глаза, которые Володя помнил ясными, теперь сверлили пространство с тревожной, острой настойчивостью. Когда их взгляды скрестились, Владимир увидел, как зрачки Юры на миг сузились от света и узнавания. И в этом мгновенном движении промелькнула острая, почти детская радость, тут же задавленная железным усилием.

Тишина длилась три секунды. За это время они успели прочесть друг в друге годы отсутствия и один общий вопрос.

Володя первым нарушил молчание. Не улыбнулся вновь, только коротко кивнул и отступил от двери, делая шаг назад, в тёплый свет прихожей. Его голос прозвучал тихо, осипло, но ровно:

— Заходи, Юр. С дороги, поди, продрог.

Юра шагнул через порог. Дверь закрылась с мягким щелчком. Облегчение оттого, что он не один, уже накрылось тяжёлой волной нового вопроса: что случилось, если Володя здесь, один, и выглядит так, словно вернулся с бессменного дежурства?

Глава 10. Разговор с другом. У Володи

Володя снял с вешалки потёртый халат и набросил себе на плечи поверх рубашки.

— Снимай накидку. Пахнешь, как будто через половину России пешком прошёл на локтях.

Он кивнул в сторону двери вглубь дома.

— Иди, в кабинете отца тепло. Я чайник поставлю.

Юра механически расстегнул накидку, скинул её на сундук. Руки сами потянулись поправить гимнастёрку. Он последовал за Володиёй в кабинет Сергея Мироновича. Здесь было не так пусто, как у них. На полках стояли книги, на столе лежали разобранные хирургические инструменты, аккуратно разложенные на чистой ткани. И рядом стояла тарелка с недоеденным куском хлеба с луком. Простая, грубая еда выжившего.

Володя, стоя у печки, зачерпнул угли из топки в маленькую походную печурку-буржуйку, поставил на неё чугунный чайник.

— Самовар сдали. На благо Советов, — пояснил он без интонации, потирая запачканные углём пальцы платком. — Зато эта штука греет и кипятит. Двух зайцев.

Юра стоял посреди комнаты, не решаясь сесть, будто мог испачкать это хрупкое убежище.

— Володь... — начал он и запнулся.

— Садись, Юр, — Владимир не обернулся, помешивая угли щепкой. — Стоишь как на посту. Война кончилась. На сегодня.

Юра опустился в кресло у стола. Оно ответило знакомым с детства скрипом. Он провёл ладонью по потёртой коже подлокотника.

— Я был у своего фронтового товарища... друга, в конторе. Он — сыскной от Бога. Достаёт языки и развязывает. Вот так. И почти всегда без крови.

— Доверишь ему всё? — спросил Володя, наливая в две жестяные кружки крутой кипяток и бросая в каждую щепотку чая.

— Да. Спину доводилось доверять. Мы многое знаем друг о друге, о чём знать вообще никому не положено. Он надёжен, поверь.

— Что нашёл? Кроме нас двоих, ещё есть кто?

— Мне нужны были факты, Володь. Не надежды. Серж уже в деле. Ищет одного типа, Сеньку, который почту забирал.

— Сенька. Да. Один раз я с ним уже столкнулся, давеча как раз. Окликнул его — тот шарахнулся, будто подстрелить хотели. Ключ у него забрал. Кстати, на вот, возьми на всякий случай. — Он протянул Юре старый, потемневший ключ. — А потом его какие-то бравые ребята под локотки взяли и увели «перетереть». Не твоего ли сыскаго? Тогда я полезность Серёги уже оценил.

Юра взял кружку, обжёг пальцы, не отдёргнул. Боль была ясной, простой вещью.

— Он считает, что наши дома уже не наша забота. Их отнимут, это вопрос времени. Искать надо людей. А не бумаги. И... он прав.

Он посмотрел на Володю прямо.

— Я был у матери. На Ласточкином.

Владимир положил вилку на стол, как кладут скальпель, и замер. Его зелёные глаза, пустые до этого, сузились, взгляд стал пристальным и цепким.

— Ну? — только и выдохнул он.

— Она сказала... — Юра с силой сжал кружку, чтобы рука не дрожала, — что Мари уехала с моим отцом. Добровольно. Что это была любовь. Что все так решили.

В комнате повисла тишина, которую разрезал только тихий треск углей. Потом Володя поставил кружку на стол. Звук был чётким, металлическим.

— Бред. Полный, клинический бред. Мари боялась твоего отца до одури с тех пор, как он на её шестнадцатилетие пришёл и смотрел на неё, как на новую породу скаковой кобылы. Она мне писала об этом ещё из поместья. В первых письмах.

Юра вздрогнул.

— Ты... получал письма? От неё?

— Три за первые пару месяцев, — отчеканил Володя. — Потом тишина. В них была глубокая тоска по Питеру, по нам. Ни слова о твоём отце как о чём-то личном. Только: «Александр Петрович помогает отцу с делами, я живу в левом флигеле». Читалось как тюремный отчёт. А потом, уже на фронте, я получил письмо от нашего отца.

Он откинулся на спинку стула, глядя в потолок, будто читая оттуда текст.

— Он писал, что его всё-таки мобилизуют. Что он «обеспечил будущее Мари с Александром Петровичем». Что тот «человек надёжный и позаботится». Это было в самом конце осени или начале зимы четырнадцатого, меня тогда перевели в основной состав и бригаду перекинули к передовым. Я тогда подумал... ну, понял. Понял, что он её отдал. Как вещь. В обмен на покровительство, на безопасность в войну. Не продал. Отдал в «надёжные руки». — Володя горько усмехнулся, одна щека дёрнулась. — Я написал ей. Три письма подряд. Спрашивал, что происходит, требовал ответа. Молчание.

— А потом... потом поползли слухи. От наших же, раненых, что с южного направления везли. Будто Безруков — промышленник в имении своём с молодой женой живёт. Я думал... Чёрт, мало ли что болтают. Сначала подумал, может, и погибла где, война же. Но нет: имение, по словам тех же раненых, стояло целое, не тронутое. Не горело. Значит, не на линии фронта. — Володя резко выдохнул, будто выталкивая из себя следующую мысль. — И тогда пришло другое: «А вдруг она и вправду... смирилась? Пристроилась?» Самое гадкое, что на секунду я в это почти поверил. Потому что проще. Потому что, если она жива и «пристроилась», значит, мне не нужно было рвать жилы, пытаясь выцарапать отпуск с этого ада, чтобы ехать и выдёргивать её оттуда. Мне можно было просто злиться на неё, а не на собственную беспомощность.

Он замолчал, и в комнате вновь был слышен только треск углей.

— А потом, спустя года два, и слухи кончились. Будто ветром сдуло. И я понял. Какая разница, добровольно там или нет? Разница в том, что мои письма к ней оставались без ответа. Сперва на фронте, потом в госпиталях. Ни одного слова. А потом замолчали и все вокруг. Значит, её просто убрали с глаз. Сперва от меня. Потом ото всех. И если её убрали, значит, она либо просила о помощи, либо могла попросить. А я... я был прикован к операционному столу на другом конце этой чёртовой страны и ничего не сделал.

Тишина после этих слов была густой, тяжёлой, как дым после взрыва. Юра не нашёл, что сказать. «Я тоже» — было бы ложью. Его вина была иной, но от этого не легче.

— А Петя... — хрипло начал Юра, не глядя на друга. — Ты... ничего не слышал? За все эти годы?

Володя медленно покачал головой, его взгляд стал отстранённым, врачующе-аналитическим. — Нет. С фронта — ни слуху ни духу. Я думал... — Он замолчал, перебирая варианты, слишком страшные, чтобы их высказывать. — Думал, не вернулся. Как многие.

— А я нашёл записку, — Юра потянулся к внутреннему карману, но остановился. — В кабинете отца. «Матери и брату не пишу... Не ищите». Подпись его. Только... — Он замаялся, впервые формулируя смутное ощущение вслух. — Только не похоже на него. Не по-петровски это. Сухо, казённо. Как отписка.

Владимир нахмурился, его хирургический ум мгновенно среагировал на несоответствие.

— Покажи.

— Потом. Я оставил её в конторе, помощник Алексей Сергею покажет. Почерк странный, надо бы сверить с оригинальным, а в кабинете отца шаром покати. Серёга что-нибудь да придумает. Да и не это сейчас главное, — Юра махнул рукой, отгоняя тему, которая казалась сейчас вторичной перед лицом катастрофы с Мари. — Просто... странно всё это. Исчезли все. Отец, мать, Мари... И Петя отписался парой строк. Как будто кто-то... системно вычёркивал нас всех из общей книги.

Володя первым очнулся от этого ступора. Он резко потёр лицо ладонями, словно стирая усталость.

— Так. Хватит ковырять старые шрамы. Займёмся делом. Ты когда-то говорил, что видел, как мой отец что-то прятал в этом столе. У него была конторка с потайным ящиком. Я обстучал всё и не нашёл. Где ключ?

— Не ключ, — Юра поднялся, подошёл к массивному дубовому шкафу. — Щелчок. Помнишь, мы играли в прятки, а я залез под стол? Сергей Миронович тогда думал, что в кабинете никого нет.

Он нажал на едва заметное углубление в резьбе. Панель тайника отскочила с сухим треском, похожим на ломающуюся кость. Юра выгреб содержимое наружу. Пыль взметнулась облаком, заставив Володю закашляться.

— Три конверта, — голос Юры звучал глухо, как из глубокого колодца. — И записная книжка Сеньки.

Он открыл первый конверт. Простой, адресованный в «Канцелярию Петроградского военного округа». На нём крупно, нервным, но чётким почерком Мари: «Весьма срочно. Лично в руки», штемпеля отправки не было. Всего несколько строк внутри: «...в связи с внезапными семейными обстоятельствами крайней важности, граничащими с чрезвычайными, убедительно прошу ваше Управление в срочном порядке сообщить действующие адреса для корреспонденции или места текущей дислокации частей, куда распределены юнкера Ершов Владимир Сергеевич и Безруков Юрий Александрович... Осмеливаюсь настаивать на безотлагательности ввиду невозможности разрешения ситуации иными средствами...»

В углу стояла карандашная пометка другим, твёрдым почерком: «15.11.1914. Не отправлять. А. Б.» Бумага была хорошей, фамильной, с водяным гербом из переплетённых литер «Е» и «Ш» под графской короной.

Юра уже открывал второй конверт. Его пальцы, привыкшие разбирать затвор винтовки вслепую, сейчас не слушались. Он развернул лист и замер. Володя увидел, как кровь отлила от лица друга, сделав его похожим на мертвеца.

— Что? — хрипло спросил Володя. — Что там, Юра? Читай!

— Не могу... — Юра отшатнулся, словно бумага была заражена тифом.

Володя вырвал письмо у него из рук. Поднёс к лампе. Бумага была пятнистой, словно на неё капала вода. «Володя... Если ты жив, пристрели меня. Или его. Лучше бы мы все умерли...» Володя читал, и его дыхание сбивалось на свист. «Он пришёл вчера ночью. У него есть ключи от всех дверей, даже от моей спальни. Он сказал, что я должна быть благодарна за крышу над головой... Я кричала, звала отца... Но дом пустой. Я мылась три часа, но этот запах... запах табака и старого человека... Я больше не могу...»

Володя не дочитал. Письмо выпало из рук. Он согнулся пополам, хватаясь за край стола, и его скрутил сухой, мучительный рвотный спазм.

— Тварь... — взвыл он, сползая на пол и сжимая виски кулаками. — Мою сестру... В моём доме... Сука!

Он ударил кулаком по паркету, раз, другой, сбивая костяшки в кровь, не чувствуя боли.

— Я выкопаю эту паскуду! Я его своими руками...

Юра стоял неподвижно, прислонившись спиной к шкафу. Ему хотелось исчезнуть. Превратиться в пыль. Это сделал *его* отец. Та же кровь, что течёт в нём. Он чувствовал себя соучастником без вины.

— Встань, Володь. — Голос Юры был страшным — абсолютно лишённым интонаций. Мёртвым. — Мы должны увидеть третье.

— Сейчас... — прохрипел Владимир.

— Встань! — рявкнул Юра. — Мы должны знать всё!

Он поднял третье письмо. Оно было пугающе аккуратным.

— Середина 15-го года.

Володя, шатаясь, поднялся. Взглянул на строчки:

«Милый Володенька. Александр Петрович — святой человек. Он так добр ко мне. Я счастлива быть под его опекой...»

Уставился на Юру остекленевшим взглядом:

— Она... она сломалась?

— Нет. Она пыталась выжить. Ты можешь представить, чтобы наша Мари сказала: «святой человек»? И «милый Володенька»? Это не её слова. После того сравнения с породистой кобылой, о котором ты сам мне говорил? Тут всё не так, словно наоборот. Это шифр, Володь. Мари надеялась, что ты поймёшь. — Юра вдруг схватил тяжёлое бронзовое пресс-папье со стола и с силой швырнул его в стену. Удар, звон, вмятина на обоях. — Он дрессировал её! Мой отец дрессировал твою сестру как собаку! А Сенька...

Юра схватил записную книжку, лежавшую рядом.

— А Сенька смотрел. И записывал. И продавал. — Юра ткнул пальцем в страницу. — Смотри. 1921 год. *«Получено от Г. И. Берга за молчание»*.

Его глаза, красные и влажные от бешенства, сузились.

— Берг... — прошипел он. — Берг здесь. В городе. — Он метнулся к стене, где висела старая коллекция оружия. Сорвал охотничий кинжал, проверил лезвие пальцем. — Я его наизнанку выверну.

Владимир перехватил его руку. Жёстко. Как в окопе перед панической атакой.

— Пусти! Он соучастник!

— Если ты убьёшь его сейчас, мы потеряем Мари навсегда! — крикнул Володю ему в лицо.

Оба замерли, тяжело дыша.

— Берг — единственный, кто может знать, где она *сейчас*. — Володя говорил быстро, слова, казалось, опережали мысли. — Твой отец умер два года назад. А эти письма до сих пор здесь. Не сожжены за ненадобностью. Берг. У него все документы. Все адреса. Все явки. — Владимир разжал пальцы, отпуская руку друга, но не отводя взгляда. Юра кивнул:

— Убьём его, и ниточка оборвётся, да, нельзя. Сенька — просто исполнитель, он может не знать точного адреса в губернии. А Берг — это архив, согласен. — Юра поднял с пола письма Мари, отряхнул их с пугающей нежностью и убрал во внутренний карман.

— Сначала Мари. Месть потом. И нельзя сразу показывать Бергу степень своей осведомлённости, — заключил Володя. — Мы её найдём. Это не обсуждается даже.

Короткое объятие, удар плечом о плечо. В темноте оба коротко выдохнули.

— Спим. Ночью его не разыщешь. В шесть будем на ногах. Поедем к портному. Спросим, как кроят тишину.

В глазах Юры плескалось ожидание и какая-то нехорошая, первородная тьма.

Шаги Владимира затихли в коридоре. Завтра у них будет Берг.

Глава 11. У поверенного. Берг

Контора Роберта Людвиговича фон Берга напоминала бюро ритуальных услуг высшего разбора. Здесь не хоронили, здесь оформляли переход. Воздух был густ от запаха дорогого воска для полов, лака для дерева и тонкой, невыносимой пыли, которая оседает только на очень старых и очень дорогих бумагах.

За монументальным столом, похожим на алтарь, восседал сам Берг. Он был невысок, сух, и сидел с такой неестественно прямой спиной, будто его кости были скреплены проволокой. При их появлении он не встал, лишь поднял голову, и свет лампы с зелёным стеклянным колпаком выхватил из полумрака его лицо: острые черты, тонкий, бескровный рот, глаза за стёклами пенсне, похожие на две чёрные булабочные головки. Он напоминал расчётливого агента похоронного бюро, который вот-вот возьмётся сантиметром снимать мерки с покойника, чтобы точно рассчитать стоимость гроба и предъявить максимальный счёт за роскошь ближайшим родственникам. В один конец, откуда не возвращаются.

Его руки, узловатые, с длинными, жёлтыми от табака и чернил пальцами, лежали на столе не просто так. Они обнимали массивное бронзовое пресс-папье в виде спящего сфинкса. Большие пальцы медленно, с каким-то почти сладостным упорством, поглаживали холодный металл, будто это была единственная тёплая и живая вещь в этой ледяной комнате.

— Георгий Александрович. Владимир Сергеевич. — Голос у него был сухой, скрипучий, как перелистывание пергамента.

Берг был другом отца, вхожим и в семью, и в дом. Юра помнил Роберта ещё молодым, как тот с отцом учил его и Петю, наставляя по книгам юридическим нюансам и истории. И ещё раньше, как Берг привёз на званый ужин в честь дня рождения Юры в подарок деревянную саблю.

Официальное обращение по полному имени вместо того, которым называл раньше, сразу подчеркнуло пропасть, выросшую за эти годы. Старый поверенный продолжил:

— Формальности соблюдены. Вот документы, касающиеся имущественных прав и интересов наследника Александра Петровича Безрукова.

Он произнёс это так, будто речь шла о передаче векселя. Безлично. Бесстрастно.

Юра взял папку. Кожа была холодной и податливой под пальцами. Он открыл её, и взгляд его, натренированный на фронте выхватывать главное из текста приказов, сразу нашёл ключевую строку. Он прочёл её про себя, потом ещё раз. Мозг отказывался складывать буквы в смысл.

«Павел Александрович Безруков, сын Александра Петровича Безрукова и Марии Сергеевны Еришовой...»

Воздух в роскошном кабинете вдруг стал разреженным и едким, как в окопе после разрыва. Юра не осознавал, что застыл, не дыша. Рядом Володя, уловив его оцепенение, едва заметно наклонился, чтобы увидеть, что же там написано. Его собственное лицо, обычно такое сдержанное, на мгновение стало абсолютно пустым.

— Кто... — начал Юра, и его собственный голос прозвучал чужим, хриплым от внезапной сухости в горле. Он откашлялся, с силой вытолкнул воздух из лёгких и начал снова, уже громче, требуя ответа не от бумаги, а от человека за столом: — Объясните. Кто это?

— Законный наследник вашего отца. Ваш единокровный брат, — поправил пенсне Берг, не меняя тона. — По воле покойного всё недвижимое имущество переведено на его имя с установлением опеки до совершеннолетия. Оформлено всё в соответствии с законом.

Владимир заметил, как Юра резко подался вперёд, и шагнул ближе, готовый в любой миг его удержать.

— Зако-о-о-оном? Тогда где Мари?! — На лице Юры появилась странная нехорошая улыбка, полусумасшедшая, как у одержимого, и не предвещающая ничего хорошего. Володя придвинулся к столу и максимально близко встал к Юре чуть сзади. Опыт показывал, что реагировать, возможно, придётся молниеносно и жёстко. Иначе поиски закончатся, так и не начавшись.

— Не имею об этом никакой информации. Я исполнял волю клиента, желавшего упорядочить дом и жизнь в сложившейся ситуации, и защищал интересы несовершеннолетнего наследника по букве закона, — голос Берга стал суше, бумажнее. — Мария Сергеевна первоначально не выказывала сопротивления переезду в пятнадцатом году. Анна Артемьевна также не чинила препятствий своему отъезду. У меня не было оснований...

— Роберт Людвигович, — Владимир перебил всю эту канцелярскую риторику, — осень четырнадцатого. Мы только уехали. Потом «чрезвычайные обстоятельства», из-за которых она с пометкой «срочно» разыскивала по инстанциям место нашего распределения и вдруг — «не выказывала сопротивления переезду» и «будущий ребёнок». Объясните хронологию. Когда именно Александр Петрович «осознал ответственность»? Через неделю? Через месяц после нашего отъезда?

Берг замолчал. Это молчание было красноречивее всех слов в мире. Юра поднял на него глаза, и в них медленно проступало понимание, ужасное и окончательное. Берг достал бумагу и протянул Владимиру: *«Роберт...купчая нужна будет в любом случае, но мне она может потребоваться через 3–4 недели для Сергея, ты знаешь Еришова, это необходимый аргумент. Возвращайся в город срочно, ты мне нужен. Александр Б.»*

Тот быстро пробежался взглядом по тексту, нашёл дату. Владимир прикрыл глаза. Редко ему бывало так трудно совладать с лицом.

— Что ж, его совесть только что уехала на фронт. Всё можно, — глухо констатировал он.

— Он... это сделал... почти сразу, — прошептал Юра, сам себе не веря. — Пока я в эшелоне ещё не доехал до фронта... Пока я думал о ней... он...

Голос предавал. Юра схватился за спинку стула, судорожно глотая воздух.

— Не драматизируйте! — заговорил Берг быстро, защищая уже не людей, а сам принцип, скреплявший его мир. — Ситуация требовала немедленного урегулирования! Была достигнута договорённость с Сергеем Мироновичем! В условиях надвигающегося хаоса, позора и нищеты Александр Петрович предоставлял кров, обеспечение и законное имя ребёнку. Это был единственный цивилизованный выход.

— Цивилизованный выход?! — Володино лицо изменилось и потеряло всякую невозмутимость, так ему свойственную. Его спокойствие рассыпалось, и голос зазвенел холодной, братской яростью. — Вы о моей сестре говорите, как о разбитой китайской вазе! Её забрали, словно вещь! Загнали в угол! А вы, отец и этот... этот господин, сели и решили, как лучше оформить сделку! Купить её молчание, её жизнь, её ребёнка, чтобы не пахло скандалом!

— Ха... Цивилизованно... взял... — хриплый, надломленный хохот вырвался у Юры, глаза метались по комнате, не находя истинного предмета ярости. — А потом удивлялся, почему она сбежала! И всё это время... — Он обрушил на Берга взгляд, полный лютого презрения. — ...всё это время она... вы с моей матерью... вели учёт этой сделки? Она подписывала бумаги на содержание, опеку? Молчала? Называла это «добровольным»? Я БЫЛ У НЕЁ!

Это уже был крик, срывающийся с петель.

— Она мне в глаза орала, что Мари — «не та»! Что сама уехала «добровольно», «с мужчиной старше отца», значит — жадная шлюха! Это она про девчонку, которую её законный муж взял силой, а она его столько лет прикрывала?! А вы это всё знали и оформляли! Крыса!

Юра и Володя сделали движение одновременно: первый в сторону Берга, второй встал между Бергом и Юрой. Володя пристально посмотрел Юре в глаза, молча, но хватка на плече и сам этот взгляд говорили яснее слов: не здесь. Не сейчас. Иначе всё пропало. Юра тяжело

дышал, его трясло. Взгляд стал почти безумным, в нём читалась животная ярость, которая границ не знает. Хотелось разбить Бергу лицо в кровь, раздробить кости, размозжить череп. Или просто проораться и снести хоть что-нибудь. Но, встретившись с Володиным взглядом, Юра понял. Стоит сорваться сейчас, и всё рухнет к чёрту: разговор, след, сама возможность найти Мари. От этой мысли из него будто выпустили весь воздух, словно из дирижабля — газ.

— Она же знала Мари... с детства... — выдал он в прострации. Потом прикрыл глаза, отодвигая эмоции. Не сейчас.

Володя посмотрел на Берга — тот стоял белый как полотно, но не смотрел на Юру. Не боялся броска или удара. Точнее, он боялся чего-то другого.

— Ещё раз, где Мари? — развернувшись к Бергу и заслонив собой Юру, спросил Владимир.

— Моя компетенция ограничена имущественными вопросами, — отрезал Берг, но в его глазах промелькнула тень.

— Я её брат. Единственный оставшийся родственник. Пропала моя сестра. Исчезла на несколько лет. Вы, как человек, оформлявший дела семьи, в которую она якобы «вошла», знали её. Имели с ней контакт. Я спрашиваю вас не как клиент юриста, а как брат: где моя сестра? Что с ней стало?

Это был прямой, человеческий удар, который миновал все юридические ширмы. Берг дрогнул, отвёл взгляд.

— Мария Сергеевна... приняла собственное решение. Её местонахождение после отъезда из имения мне действительно неизвестно.

Из-за спины Володи послышался неприятный звук ножек стула, прогромыхавших по полу. Юра подвинул массивный стул со своей стороны ближе к столу, плавно опустившись в него и положив ногу на ногу, откинулся на спинку, руки на подлокотниках начали медленно, зеркально друг другу постукивать пальцами.

Он заговорил размеренно, голос изменился, став сухим и кабинетным, но впечатление спокойствия было обманчивым. Злость внутри трансформировалась, словно питая резкий, вездливый рассудок.

— Приняла решение. В шестнадцать лет. Хорошо. Как поверенный семьи Безруковых, вы должны были оформить последствия этого «решения». Покажите мне, будьте уж так любезны, как Безрукову, актовую запись о рождении Павла. Мне нужна точная дата. — Взгляд был такой, словно он не говорил, а целился. Слова вылетали как выстрелы. Только поза напоминала больше экзаменатора.

Берг, уже застигнутый врасплох Владимиром, а теперь резкой сменой поведения Юры, машинально достал из папки лист, протянул. Володя взял его первым, пробежал глазами. Лето 1915-го. Молча передал Юре.

Тот взглянул на дату. Лицо его не дрогнуло, но в глазах что-то застыло, стало ледяным.

— Лето пятнадцатого, — произнёс он, глядя на Берга. — Значит, на момент рождения ребёнка Марии Ершовой ещё не исполнилось восемнадцати лет. Она была несовершеннолетней матерью. По законам Российской Империи, действовавшим на тот момент, в такой ситуации обязательно назначался опекун как над матерью, так и над ребёнком. Покажите документ об установлении опеки.

После короткой паузы Берг достал ещё один лист, плотный, с печатями. «*Акт о принятии под покровительство и установлении опеки...*» Юра взял бумагу, отметив про себя, что Берг эти документы находит быстро, выуживая из одной и той же толстой подшивки.

Глаза быстро бежали по строчкам.

— Пункт первый. Опекун над несовершеннолетним Павлом — отец, Александр Петрович. Пункт второй. Опекун над несовершеннолетней матерью, Марией Ершовой... — Он поднял взгляд. — ...также Александр Петрович Безруков.

Он положил документ на стол, аккуратно, как вешдок.

— Объясните с точки зрения Свода Законов. На каком основании чужой мужчина, не родственник и не супруг, назначается опекуном над несовершеннолетней девицей? Где ходатайство её законного представителя, отца? Где согласие самой Марии? Её подписи здесь нет. Зато есть подписи сторонних лиц: Александра Петровича... и моей матери. — Он сделал паузу. — Вы оформили передачу девушки под полный контроль человека, с которым её связывают лишь... биологические обстоятельства. И оформили это как «покровительство». Это не опека, Роберт Людвигович. Это акт закрепощения, прикрытый печатями.

Берг пытался сохранить лицо:

— Отец дал согласие! В условиях войны это была единственная гарантия обеспечения, защиты...

— Защиты от кого? — вкрадчиво и обманчиво мягко перебил Владимир, словно делал аккуратный надрез, который нужно углубить, и его голос приобрёл новую, отчётливо хирургическую остроту. — От него же самого?

— От внешних угроз: войны, нищеты и голода. — Желваки на лице Берга пришли в движение, он злился, цедя слова. Как профессионал, он почувствовал, как его начали ловить.

— От которых и сбежала сквозь ад войны с годовалым малышом. По данным свидетельств, — вспомнил Юра слова Володи о том, когда растворились слухи и стали говорить, что именье стоит пустое, — девушка исчезла, спустя два года после начала войны. Соответственно, и документов, возвращающих опеку матери, достигшей совершеннолетия, у вас нет. Как и снятия опеки с Безруковых старших. Или вы их можете нам показать?

— Активный розыск сбежавшей из-под опеки Марии Безруковой с сыном начался уже осенью шестнадцатого. Сразу после побега, — бесстрастно подтвердил Берг, начиная понимать, что лучше держать себя в руках. Этот мальчишка не зря получил блестящее образование, Николаевская гимназия и юридический Императорского Университета напомнили о себе. — Но оказался безрезультатным. Последние сведения указывают на «Воронеж — 1», в самом начале семнадцатого года, далее след безвозвратно потерян.

Володя, уже сидевший во втором кресле, держал на коленях ту самую жиденькую папку, раскрытую на одном документе.

— Ведя дело о наследстве, видимо, для чего-то необходимо... вовремя зафиксировать время прекращения поисков пропавшего без вести? Прямо как констатация юридического времени смерти. Сухая служебная записка.

Он подал документ Юре и тот взял лист. Его взгляд упал на строчки, и голос стал ровным, декламационным, как при чтении приговора:

— *«...в результате активных поисков, проводимых по июль 1922 года, установить точное местоположение М. С. Еришовой с малолетним сыном не представляется возможным... Сумма розыскных расходов по делу за отчётный период составила...»*

«Отец умер в 1920-м, — подумал Юра. — А расходы на розыск шли по 1922-й включительно. Значит, искали уже после его смерти. Кто? Зачем?»

Он поднял глаза на Берга, и в них не было ничего, кроме ледяной, неумолимой ярости.

— Так от чего вы её «защищали» все эти шесть лет, Роберт Людвигович, если она от этой «защиты» сбежала, а вы, как цепной пёс, гнались за ней до самого этого лета? Тратя на это деньги даже после смерти вашего основного клиента и плательщика по делу?

Юра сделал паузу, давая этому факту врезаться в сознание Берга, а потом резко сменил направление атаки. Его тон стал нарочито простодушным, почти издевательским:

— Вопрос на засыпку, как юристу. А то я в окопах подзабыл. Каков срок вступления в наследство по закону?

Берг, окончательно сбитый с толку этим переходом, пробормотал:

— Шесть месяцев...

— Шесть месяцев, — повторил Юра, и в его голосе не осталось и тени простодушия, только сталь. — Имущество оформлено на Павла. Александр — его опекун и распорядитель. Удобно: контроль над матерью, контроль над наследством сына. А через полтора года мать с сыном бегут. Просто так. От хорошей жизни.

Он наклонился к Бергу.

— Скажите, что заставляет женщину с младенцем бежать из-под «кровы и защиты» в военное время? — Юра смотрел на Берга не мигая. — У нас есть несовершеннолетняя мать. Есть фиктивная опека, передающая её под полный контроль постороннего мужчины. Есть ребёнок, на имя которого выводится наследство из-под национализации. И есть ваши подписи под всей этой конструкцией. Для новых властей этого достаточно. Они не станут разбираться в крюкотворстве. Они увидят не сложность семейного дела, а насилие, прикрытое законом, и попытку вывести капитал через подставного наследника. Не ошибку, а состав. Саботаж под видом законности. Вы же сами слышите, как это звучит.

— Вы не докажете никакого насилия, это могут подтвердить только Мария Сергеевна или Александр Петрович. Первая пропала без вести, второй умер. Документов, подтверждающих этот факт, нет. Даже Анне об этом не было сказано. — На мгновение на словах о Безруковой его лицо чуть скривилось, словно он сожалел о чём-то или от укола чего-то болезненного. Что не осталось незамеченным для Володи и узор сложился.

— Для вас это тупик. Я попрошу вас удалиться, господа, вопрос закрыт. — Берг тоже умел бить.

— Жаль Анну Артемьевну... — проронил Володя, и Берг резко вскинул голову на Юру.

Тот же перешёл на шёпот, и голос стал леденяще тихим:

— Если рухнет ваше дело, Роберт Людвигович, за ним рухнет всё остальное. Не только ваши махинации с опекой и наследством. Не только ваша репутация. Всплывёт каждая подпись, в том числе — моей матери. И первой под обломками окажется именно она. Не отец, которого уже нет. Вы, может быть, и выкрутитесь. А вот Анна Артемьевна для новых властей будет не брошенной женой, а живой сообщницей: женой фабриканта, женщиной, помогавшей выводить состояние и прикрывать всю эту конструкцию. Вы хотите утащить её за собой, туда же, под следствие, в подвал, под статью? После всего, что уже с ней сделали? Тогда молчите дальше. Но не делайте вид, будто это я её туда толкаю. Это будете вы.

Берг содрогнулся, а потом выдохнул и ссутулился, словно став старше ещё на десяток лет. Он снял пенсне, медленно положил его на зелёное сукно. Долго смотрел в серое питерское окно.

Когда он заговорил, голос был глухим и далёким:

— В конце четырнадцатого... Когда всё это стало ясно... Я предлагал ей альтернативу. Полное юридическое сопровождение. Документы. Возможность уехать. Начать новую жизнь. Вдали от всего этого. — Берг замолчал, сглатывая ком. — Я говорил, что долг выполнен. Что сыновья уже взрослые. Что можно... наконец... жить.

Володя, не сводивший с него хирургического взгляда, тихо вставил:

— Не просто новую жизнь. Новую жизнь — с вами.

Берг замер. Потом медленно, с бесконечной усталостью, кивнул.

Юра, всё ещё стоявший в тени своего гнева, не удержался:

— Мари — отцу? Как откупную за возможность забрать мать?

Берг резко поднял на него взгляд. В его глазах вспыхнуло оскорблённое достоинство.

— Нет. Что бы вы обо мне ни думали, Безруков. Тем более так. Александр... Его решение насчёт Мари было его собственным безумием. Я предлагал Анне уехать и до того, как это... устроилось. Просто уехать. Чтобы она могла дышать. — Он снова посмотрел в окно. — Она отказалась. Сказала, что будет ждать сыновей. Что это её долг. И что теперь уже поздно всё бросать, — он махнул рукой на папку, — когда нужно хоть что-то сохранить. Для детей.

Чтобы не отняли всё. Я мог только... стараться, чтобы в этих бумагах... осталась какая-то щель. Лазейка для будущего.

— Вы зацементировали её в этой роли, — глухо проговорил Юра, и в его голосе теперь была не ярость, а горькое понимание. — Сообщницы. Хранительницы пустоты. И теперь вы можете либо позволить этой пустоте поглотить её окончательно, либо помочь нам отодвинуть её от эпицентра взрыва. Где всё, что не вошло в официальные папки?

Берг был сломлен. Молча он открыл нижний ящик, вынул толстую, выдавшую виды папку. Положил её сверху на подшивку на стол. Порылся в ней и достал небольшую фотокарточку в картонном паспорту. Молодая Анна Безрукова.

Он коротко посмотрел на женщину, чей образ обрамлял подвыцветший картон. В этом взгляде было слишком много всего, чтобы прочесть по лицу, что творилось у мужчины внутри. Потом тихо, но чётко сказал:

— С вашего позволения... её я оставлю.

Не спрашивая, а уведомляя, он убрал карточку в глубину ящика и закрыл его с тихим щелчком. Выдохнул.

— Всё, что есть. Черновики, запросы, старые адреса, бухгалтерские бумаги. Контакты в Воронежской губернии, что проверялись. И... отказ Петра от наследства. Анна знает, что он жив, в Польше. Но само письмо... не передавайте. Растревожит только.

Володя забрал папку с подшивкой.

— Молчание в обмен на молчание.

Они вышли, дверь закрылась, оставив в кабинете Берга. Он был спокоен и даже ощущал что-то вроде облегчения, словно с него сняли груз, который он очень долго на себе нёс и только сейчас понял, какова была ноша.

Петроградский ветер ударил в лицо сырой, отрезвляющей пощёчиной. С Невы тянуло мокрым снегом. Володя глубоко, жадно вдохнул, словно вынырнул с глубины.

— Ты его уничтожил, — выдохнул он. — Я думал, он начнёт крутить параграфами, вызовет охрану, но ты... Ты пережевывал его, Юра, как сухарь с голоду.

Володя глянул на друга. Спичка у того сломалась в дрожащих пальцах — только сейчас напряжение начало отпускать, сменяясь ознобом. Юра наконец закурил.

— Мы уничтожили. Твой надрез был точнее. «Новая жизнь с вами»...

У тротуара под тусклым фонарём, стояла пролётка. Лошадь, укрытая попоной, переступала с ноги на ногу, фыркая в торбу с овсом. На козлах, подняв воротник тулупа, дремал парень в кепке — Алексей, помощник Сергея. Сам Сергей стоял рядом, похлопывая лошадь по шее. Заметив вышедших, он шагнул навстречу.

— Ну что, как прошло? — коротко спросил Сергей, цепко глядя на них.

— Владимир Ершов, — представился Володя и пожал протянутую руку, коротко и уверенно.

— Володь, это Сергей. Тот самый, о котором я тебе рассказывал. А прошло всё непросто, но весьма... — Юра хотел сказать «неоднозначно», но Володя договорил за него:

— Но результативно. Сломан, — пояснил он и кивнул на Юрин планшет. — Отдал папку с архивом и «могилу» в Воронеже, точку, где след оборвался в семнадцатом.

— И ещё, Серёж... — Юра немного помедлил, одна мысль записалась в картотеку памяти, и её надо было озвучить, — есть одно но. Мари сбежала от отца в шестнадцатом, с их общим ребёнком. Ребёнок — номинальный наследник. Но искали их до этого самого лета.

Повисла небольшая пауза, Юра затаился, прежде чем продолжить. Сергей не задавал вопросов, он помнил ещё с фронта, что значила для Юры эта девушка. Тремор больной руки выдавал запоздавшие нервы. *«Но даже в таких событиях, всё же хорошо, когда есть, кого искать»*, — подумалось Сержу.

— Шесть месяцев на вступление в наследство уже прошли. По законам Советов, если опека не переоформлена, мальчик юридически «висит в воздухе». А имущество бесхозное. Должен быть документ, а если его нет, то этому должно быть объяснение. Берг — не дурак.

— Зада-а-а-а... У нас будет вилка, господа. — Сергей хмыкнул. — Берг искал по бумагам. А я, пока вы там беседовали, «почтальона» вашего тряхнул. Сеньку.

— И? — Володя подобрался.

— Птица говорливая, если знать, за какие перья дёргать. В общем, запел он. И вспомнил одну деталь, про которую Бергу не докладывал. Побоялся тогда, что шкуру спустят за ротозейство. Я спросил, кто к дому Ершовых шастал, пока барин отсутствовал. Сенька говорит, была одна. Дама. Сначала гостила, как вы отбыли, но барин её быстро сплавил. Строгая, стриженная, как мужик. Скандалила у ворот. Потом долго её не было ни видно, ни слышно.

— Тётка! — Володя хлопнул себя по лбу. — Лидия Петровна! Сестра матери!

— Точно. Сенька вспомнил, что Александр Петрович приказал её на порог не пускать. Но она, баба ушлая, приезжала ещё два раза, правда, много позже, в именье, и уже смиренная. Крайний раз сказала: «Раз племянница больна и видеть никого не хочет, передайте ей хоть гостинцев». И сунула Сеньке коробку со сладостями. Сенька, дурак, и передал. Думал, конфеты. — Сергей прищурился. — А через три дня Мари исчезла. Вместе с ребёнком. Сенька потом локти кусал, когда догадался, что в «гостинцах» не только сахар был.

— Деньги, — понял Юра. — И план побега.

— Сенька говорит, что она в Гатчину ехала, как раз переезжала к двоюродной племяннице и проездом решила провести Мари. Всё пыталась новый адрес ей передать: Гатчина, Соборная, дом вдовы.

— Едем? — спросила Юра.

— Так-то да. Но вилка в том, что Берг через час-другой начнёт метаться: писать, телеграфировать, звонить, куда не надо, — ответил Сергей. — Значит, куй железо, пока горячо. Вы с Лидией Петровной поговорите сразу. Лёха за это время вокруг неё воздух прошупает, он сметливый. Так у нас от вилки — один удар, четыре дырки. — Сергей хмыкнул, подкрутив ус. — А я к Бергу вернусь.

— Мы с тёткой разберёмся, — с некоторым сомнением сказал Володя. — Меня она вспомнит. Это у отца с ней отношения не сложились, общаться мы поэтому перестали. При этом к нам с Мари она всегда относилась хорошо. Но она женщина жёсткая.

— Я больше скажу, — добавил Сергей уже суше. — Сенька сказал, что Берг её осаживал все эти годы. Письма были, телеграмма от её поверенного тоже. Что-то вроде: «Ваши угрозы вам же тем же самым по тому же месту». Таких либо ломают, либо они знают такую тайну, что её страшнее смерти хранить. И, судя по тону, её не сломали. Барыня, ясное дело, с копьём. И сидит на своей тайне, как на пороховой бочке.

— Справки вокруг неё навести тебе было бы сподручнее, — заметил Юра прямо.

— Лёха справится, — отрезал Сергей. — А мне Берга нельзя отпускать. Пока горячий, из него ещё можно тянуть нитки.

Он хищно улыбнулся, поправляя кобуру под курткой.

— У нас с ним будет долгий вечер при свечах. Я ему каждую бумажку из папки вспомню. — Сергей протянул руку. — Поезжайте. Лёха, головой отвечаешь. Доставишь Юру с Владимиром, подождёшь, привезёшь обратно. И по Лиде ты понял, да? Если что не успеется, найдёшь языков за монету. С собой достаточно?

— Обижаешь, шеф, всё по штатке и с собой, — открыто улыбнулся парнишка.

Юра отметил про себя, как тот изменился. В нём не осталось ничего от щуплого клерка в пенсне, коим тот предстал перед Юрой вечером в конторе Сергея. Этот задорный взгляд был одновременно и озорным, и пронзительным, метким, а его улыбка чем-то напоминала Сергея. Почему-то от этого наблюдения на душе стало спокойнее.

— В пролётку, господа, — сказал Алексей. — Ехать нам прилично. Чтоб обернуться быстрее, не будем медлить.

Глава 12. Гатчина

Через пять минут пролётка уже выезжала на пустынный, залитый серым светом проспект. Недавно прошёл дождь, и колёса хлюпали по чёрной, блестящей от влаги брусчатке, брызги летели во все стороны. Алексей, примостившийся рядом с кучером на облучке, а не в грязном кузове, изредка покрикивал на лошадь — небольшую, мышастую клячу с проседью на холке, которая, казалось, знала дорогу лучше людей. Высокие колёса с голыми железными ободами с рокотом и лязгом выхватывали из грязи комья холодной жижи. Пролётка была неновой: облупившийся плетёный кузов, скрипучие рессоры, сырые сиденья, пахнущие лошадиным потом и старым деревом. Но она была быстрой. Юра, втиснутый в узкое сиденье, чувствовал, как каждое жёсткое подбрасывание отдаётся застарелой болью в спине, но это была цена скорости, того, что через три-четыре часа они уже будут в Гатчине. Володя, закутавшись глубже в шинель, смотрел прямо перед собой, но взгляд его был пустым и острым одновременно. Он уже мысленно проигрывал предстоящий разговор, искал слабые места, подбирал слова.

Они вышли, отряхиваясь от дорожной грязи. Алексей первым подошёл к калитке, толкнул её, и та открылась с протяжным, жалобным скрипом. На крыльце, услышав шум, показалась женщина лет тридцати, просто одетая, с испуганным, настороженным лицом.

— Вам кого?

— Лидию Петровну Качалову, — чётко сказал Алексей, снимая картуз. — По-старому питерскому делу. Скажите, что приехали не от Берга.

Женщина, видимо, племянница Лидии, замерла, потом кивнула и скрылась в доме.

Минуто-другую они стояли в тишине, нарушаемой лишь карканьем ворон на голой рябине. Потом дверь снова открылась. В проёме, за спиной племянницы, стояла Лидия Петровна.

Она была невысокой, прямой, как трость. Одета в тёмное, строгое платье, на плечах не новая, но добротная шаль. Лицо не старое, но выгоревшее, с сухими, резкими морщинами у рта и глаз. И эти глаза... Сначала они обвели всех троих быстрым, оценивающим взглядом. Остановились на Алексее, и жизненный опыт сразу подсказал, что перед ней сыщик. Затем переметнулись на Володю. Его лицо казалось ей знакомым. И, наконец, остановились на Юре.

Её лицо не выражало ни страха, ни удивления. Только тяжёлую, как камень, ненависть. Холодную и ясную.

Она сделала шаг вперёд, на крыльцо. Голос её был низким, без дрожи, но каждое слово падало, как камень в колодезь:

— Жив... А я-то думала, все вы Безруковы... сгинули. И приехал. — Её взгляд, холодный и оценивающий, вновь скользнул по Алексею и Володе, но тут же вернулся к Юре, вонзившись в него с новой силой. — Чтоб вы знали: с Безруковым и его псом дел никаких иметь не буду. Сказала раз и навсегда вашему отцу, повторю и вам. Ступайте той же дорогой, какой пришли.

Она сделала движение, чтобы захлопнуть дверь, но её взор на миг зацепился за Володю. Что-то в его позе, в зелёных глазах, в молчаливом напряжении заставило её замереть. Морщины у глаз дрогнули. Она прищурилась, всматриваясь, и медленно, будто против воли, повернулась к нему всем корпусом.

— Володька?.. — вырвалось у неё тихо, и в голосе впервые пробились трещина, не мягкость, а шок от встречи с призраком. — Господи... Да ты... откуда?

Владимир лишь кивнул, коротко и тяжело. Его лицо оставалось каменным, но в глазах стояла та же усталая, фронтальная ясность, что и у неё.

Лидия Петровна сжала губы, будто проглотив что-то горькое. Она отступила вглубь прихожей, сделав невольный жест — впускала. Племянница исчезла в темноте коридора.

В маленькой, до блеска вычищенной гостиной пахло хлебной закваской, лавандой и старыми книгами. Здесь было тепло и обжито, но молчание и треск поленьев делали паузу гнетущей. Лидия не предложила сесть. Она стояла у печки, опершись о край полки сухими, узловатыми пальцами.

Юра, не в силах больше ждать, выдохнул вопрос, который жёг ему горло восемь лет:

— Вы знаете, где может быть Мари сейчас?

— Так вот ты какой, мальчик из того дома, — хмыкнула она пренебрежительно, первый раз пристально посмотрев Юре в глаза. — А почему тебя это теперь волнует? Ваш отец был вынужден взять вашу ответственность на себя, всё-таки внук. — Лидия презрительно отвернулась, но в этом жесте была не злоба, а давняя, окаменевшая обида.

Юра смотрел на неё широко распахнутыми глазами, а Владимир с Алексеем вперились взглядом в Юру. Все ждали ответа в гнетущей тишине, нарушаемой лишь трескотнёй в огне.

— Я не получил ни одного письма, — голос Юры прозвучал чужим, плоским, — и это не внук, а сын.

Лидия резко обернулась, будто её хлестнули по щеке. Она подошла к окну, то и дело оглядываясь и всматриваясь в Юру, а тот смотрел в ту точку, где ранее стояла Лидия. Собственный голос звенел у него в ушах, как эхо в пустом колодце.

— Странно, очень странно. Вы знаете... — Речь Лидии приобрела какой-то новый оттенок, брови сдвинулись, слова потекли, как будто сорвало печать. Лида вспоминала, смотря в стену за печью, словно просматривала заново что-то минувшее или вглядывалась в кадры киноленты, пытаясь разглядеть там какие-то детали, ухватить их. — Поначалу Мари билась, как рыба об лёд. Неделями. Сидела у окна в своей комнате, в той, что на углу, с видом на вашу калитку, Юрий Александрович, и смотрела. Ждала почтальона. А когда проходили пустые дни, просто сидела и плакала в кулак. Потом начала писать. И вам, и Володе. По три черновика на письмо: всё рвала, переписывала, боялась, что не так поймёте. Глаза у неё были, как у затравленной козули, огромные, всё время на мокром месте. Дурочка, всё пыталась втолковать мне, что ей непременно надо сказать вам какое-то своё слово, пока ещё не поздно.

Лидия резко выдохнула, её пальцы сжали край полки до побеления костяшек.

— Я приехала, как получила её первую отчаянную записку. Застала её в этом самом состоянии. Она ухватила за меня, как утопающий. Говорила, что отец ваш, Сергей Миронович, что-то решил с Александром Петровичем, что её не спрашивают, что ей страшно и даже записку отправить... непросто. Она плакала у меня на плече, а сама вся тряслась от этого своего беззвучного ужаса. И я, старая дура, думала, что это девичьи страхи, преувеличивает. Утешала, мол, отец не даст в обиду. А потом пришёл ваш батюшка, Юрий Александрович. Вежливый, холодный как лёд. Поблагодарил за беспокойство, сказал, что всё улажено, и попросил... нет, велел мне уехать. А ваш отец, Вольдемар, лишь стоял у камина, смотрел в огонь и молчал. Молчал! Спорить с хозяевами дома у меня не было ни права, ни возможности. Я уехала, оставив Мари свой адрес как последнюю соломинку.

Она замолчала, глотая ком в горле, и продолжила уже тише, но с той же едкой горечью:

— Я заехала к ней через пару недель, уже по дороге из Петербурга. Она не вышла ко мне. Горничная сказала, что барышня нездорова и просит не беспокоить, и протянула её записку в три строчки: *«Тётя Лида, я приняла решение. Уезжаю с Александром Петровичем в имение бывшее Быстрицких. Простите меня»*. И всё. Бедная, бедная моя девочка. Я даже подумать не могла, что Саша... что ваш отец способен на такое. А надо было, зная натуру и замашки вашего батюшки.

Лидия сложила руки на груди, и взгляд стал тяжёлый.

— Я была в имение Быстрицких-Безруковых. Тогда уже время прошло, прислуживали там новые, да и Александра, мне повезло, не было. Я кратко переговорила с Мари и поняла, что ей нужно бежать. Задержалась там у лекаря. Часть денег от дома передала, договорилась

с людьми, чтоб отвезли в лазарет при моей больнице, куда я устроилась здесь. Так мы её и вывезли. Но я дала Мари слово, что никто от меня ничего не узнает.

Юра, бледный как полотно, сделал шаг вперёд, руки его сжались в тщетном жесте:

— Хорошо... Хорошо, вы дали слово. Но вы же с ней связь имеете. Знаете, жива ли она сейчас, в каком состоянии? Ей помощь нужна? Любая. Деньги, лекарства, еда для ребёнка... Мы можем всё это обеспечить. Направьте ей от нас всё, что нужно. Только скажите, что именно. И передайте, что мы... что я вернулся.

Лидия смотрела на него долгим, невыносимо тяжёлым взглядом.

— Помощь... — протянула она, и в голосе её зазвучало сухое, как осенняя листва, сожаление. — Я и так передаю ей, что могу. У каждого уважающего торговца, а мой покойный муж был из таких, есть свой надёжный человек. Через него и отправляю, время от времени. Не всё доходит: сначала война, теперь дороги, бандиты, новые порядки. Да и своих средств, сами понимаете, после всего негусто. Но она знает, что не одна на свете. Пишет кратко: «*Живы. Здоровы. Спасибо*». Не жалуется. Никогда. Даже когда, видно, совсем худо. А с документами для неё и ребёнка мой поверенный в своё время помог. Чтобы не как беглые звери.

Она покачала головой.

— А ваши деньги... Это ваше «всё»... Нет. После всего, что сделал ваш отец, она вашей помощи не примет. Не поверит. Испугается. Для неё это будет не спасение, а новая ловушка. Вы для неё теперь — часть того мира, от которого она бежала. Поняли? Одним своим появлением вы можете всё разрушить. И рисковать она не станет.

Продолжила она, уже глядя куда-то в пространство за их спинами:

— Удача была на её стороне. Не знаю, каким чудом, но явно не без божьей помощи, она добралась до деревни. У моей сестры, матери Мари, был там дом. Этот дом не является собственностью Ершовых, так что дом моей сестры надёжен. Мы все там бывали в старые времена. Мари строго-настрого просила адрес никому, особенно Александру, не давать, говорила, что это единственное место, на которое она надеется и может теперь назвать домом. Лишнее ухо что лишняя дорога к ней. Девочка хорошо меня знает, достаточно просьбы. Александр исправно навещал меня и не раз, пытаясь узнать, куда бы могла уехать Мари. Я чуть не сжалась над ним, но что-то в её письме меня заставило промолчать. Я думала, что она сбежала от деда-брюзги и тирана. А надо было понять, что не от деда.

— Адрес? — Юра смотрел на Лидию и ждал ответа, каждый мускул в его теле был напряжён, как струна.

— Простите меня за мои обвинения, я была не права, — сказала она устало. — Но адреса я вам не дам. Мари просила не говорить никому. И я слово держу.

Владимир, до сих пор молчавший, заговорил. Его голос был низким, ровным, без просьбы, а как констатация неизбежного.

— Лидия Петровна. Напишите Мари. О наследстве, оно на Павла. И что я вернулся с фронта и хочу её увидеть. Может ли она приехать в наш дом в Петрограде? Или можете ли вы дать её адрес мне?

Лидия кивнула, отвернулась к окну. В этот момент Владимир едва заметно кивнул Алексею на неё, пока она не видит. Тот в ответ чуть прищурился. Жест, понятный только им двоим: «*Понял. Сделаю*». И молча, неслышными шагами вышел в прихожую. Дверь на улицу открылась и закрылась с едва слышным скрипом петли и глухим щелчком защёлки.

— Я провожу вас, — глухо сказала Лидия, всё ещё глядя в заледеневшее оконное стекло, за которым медленно наступал гатчинский вечер.

Она не проводила их дальше крыльца. Дверь закрылась за их спинами с мягким, но окончательным щелчком. На улице уже сгущались синие сумерки. Отъехав на сотню саженей, они остановились в переулке. Алексей, дождавшись, когда из ворот выйдет подросток с пустым ведром и скроется за углом, коротко бросил:

— В деревню она отсюда передаёт через местного, который на рынок в Питер ездит. Мальчишку этого я уже приметил, когда вы разговаривали. Он клонет на монету и на обещание помочь с пропуском в город. Адрес будет к утру.

— Алексей, не знаешь, а по Петру ничего нет? — спросил Юра.

— Пока нет. Бумаги берговские разберёте, там видно будет. Покопав, Юрий Александрович. И откопав, кого надо, и прикопав — кого надо. — Он выдохнул струйку дыма, сливающуюся с гатчинскими сумерками, и улыбнулся. — Нужно извозчику сказать, чтоб через ваши дома проехал, возьмите домашнее. Я отвезу вас в нашу контору. Утром шефу по другому делу надо, чтоб время зря не терять.

Володя кивнул, коротко и тяжело. Дальше ехали молча. У каждого было, что переварить в этом гнетущем, победоносном и одновременно горьком молчании.

Стук железных ободов по булыжнику Гороховой улицы отозвался эхом в опустевшем вечернем Питере. Заехали к домам, где в темноте маячили лишь слепые окна, взяли самое нужное: Володя забрал свёрток с инструментами и свой тёмно-синий халат, аккуратно сложенный поверх, — привычка к чистоте и порядку, неистребимая даже в разорённом доме; Юра переоделся в шинель, которая лучше грела, и захватил потрёпанный полевой планшет. И снова в пролётку, к низкому, вросшему в землю полуподвалу с вывеской «Канцелярия частных поручений». Контора была давно закрыта, но из-за занавешенного окна струился жёлтый, приглашающий свет.

Кучер, получив щедрую плату, исчез в сырой мгле. Алексей, звякая связкой ключей, открыл боковую дверь, и они вошли. Не в парадный кабинет, а прямо в жилую берлогу Сергея, в самое сердце его маленькой империи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.